

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



**ОГОНЁК**

№ 13

1984



*Михаил КОЛОСОВ*

**КОСТЕР**

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 13

---

Михаил КОЛОСОВ

# КОСТЕР

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1984

## Михаил КОЛОСОВ

*Михаил Макарович Колосов родился в 1923 году в городе Авдеевке Донецкой области.*

*Во время Великой Отечественной войны Михаил Колосов служил в действующей армии рядовым стрелком, автоматчиком, командиром отделения, был комсоргом батальона. Дважды ранен.*

*После войны окончил Ленинградский юридический институт и заочно Литературный институт имени А. М. Горького. Работал юристом, заведующим парткабинетом райкома партии, главным редактором книжного издательства, ответственным секретарем Курского отделения Союза писателей. В настоящее время — главный редактор еженедельника «Литературная Россия».*

*В 1954 году вышел первый сборник М. Колосова — «Голуби». В последующие годы — повести «Бахмутский шлях», «Мальчишка», «Яшкина одиссея», «А как же Васька?», «Карповы эпопеи», «Срубили белую акацию», «Три куля черных сухарей», «Родная окраина», «Три круга войны» и др. Рассказы и повести его печатались в журналах «Огонек», «Новый мир», «Октябрь», «Москва», «Молодая гвардия», «Наш современник».*

## КОСТЕР

Было это на летних военных сборах.

Наши палатки стояли на отшибе под могучими роскошными дубами. Офицеры поднимались рано и возвращались только после отбоя, а целый день здесь скучал один дневальный.

Случилось как-то, что я после ужина оказался без дела и пришел «домой» раньше других. Взял книгу, сел под деревом.

Вечер был тихий и теплый. Заря еще не погасла, но птицы угомонились. Соловьи уже целую неделю не поют: у них появились птенцы, и теперь им не до песен.

Донимали комары, я собрал за палатками сухих веток, развел костерчик. Запахло дымком, запрыгало веселое пламя.

Издали доносились дружные отклики солдат: шла вечерняя поверка. А потом оркестр заиграл марш: начался развод. Как всегда, военный марш навевал на меня грусть и тоску...

Я подбросил в костер веток, огонь стал ярче. Мне надоело поминутно бросать топливо, и я положил в огонь толстое полено. «Оно будет гореть долго и ярко», — решил я. И действительно — в первую минуту, придавив мелкие веточки, оно затрещало, схватилось пламенем, но потом стало шипеть, гаснуть, а с обоих концов появилась белая пена: полено оказалось сырым. Однако я не снял его. «Пусть, — думаю, — подсохнет и загорится».

Полено шипело, а костер мой стал тускнеть. Изредка вспыхивали красные, беспомощные язычки пламени и тут же гасли.

Оркестр продолжал исполнять марши, костер потухал...

Но вот одна веточка каким-то чудом вывернулась из-под полена, вспыхнула ярким пламенем и, словно торопясь, быстро сгорела. Она сгорела так ярко, что после нее долго казалось, будто вокруг стоит сплошная темень.

Через некоторое время отвалилась вторая веточка и тоже воспламенилась. Правда, не так ярко, как первая, но зато горела дольше и увереннее.

За второй веткой вспыхнули третья, четвертая... Полено потеряло равновесие, скатилось с вершины, и в ту же минуту костер ожил. Высокие языки яркого пламени затанцевали, заиграли всеми своими красками. Широкие листья дуба, которые свисали над костром, затрепетали, зашелестели.

Я посмотрел на полено, не оправдавшее моих надежд, и подумал: «Бревно так оно и есть бревно...»

И вдруг вспомнился мне почему-то редактор нашей районки. Не теперешний, а прежний — Лукошкин. Суров был, на людей не смотрел прямо, а все исподлобья. Нос у него все время морщился брезгливой гримасой, будто он нюхнул какой-то дряни. Работой сотрудников Лукошкин был постоянно недоволен, ворчал, шипел на них, как вот это полено. Кто бы что ни сделал — все не так, все не то. А что и как надо, объяснить не мог, потому что сам не знал, чего хочет. Людей унижал, выставлял их как ни к чему не способных бездарей. И все в редакции вскоре как-то сникли, каждый стал невольно чувствовать себя каким-то неумехой, люди перестали верить в себя, за серьезную работу не брались. Да и то, что делали, делали робко, с оглядкой на своего сурового шефа. А какой уж тут взлет творческой мысли, какое уж тут горение, если тебя все время давит вот такое шипящее полено, как Лукошкин? Все глохнет, никнет, сохнет на корню.

Долго так продолжалось. Люди уже даже привыкать стали к такой обстановке, как к нормальной. И вдруг первым прорвало самого молодого из сотрудников — Володю Лапкина. Вспыхнул парень, вскипел, высказал в горячах Лукошкину все, что о нем думал, а уходя от него, еще и дверью хлопнул. Лукошкин, конечно, возмутился, зашипел, пустил пену, побежал жаловаться в райком, и все кончилось тем, что Володю из редакции уволили. Сгорел парень...

А через некоторое время против Лукошкина неожиданно восстал ответственный секретарь — человек пожилой, спокойный, скорее инертный, чем воинственный. Глеб Иванович Крохин вдруг вышел из себя, распалился, наговорил Лукошкину много неприятных слов, сравнил того с бегемотом, который случайно забрел в посудную лавку, и сам первый пошел в райком — рассказал там обо всем. Но в райкоме тогда не обратили особого внимания на эту ссору, постарались погасить ее, притушить, помирить обе стороны. Однако для порядка Лукошкина все-таки поругали, сказали, что газета скучная, беззубая, нет в ней ни острых проблемных статей, ни читабельного материала, нет творчества читателей — стихов, рассказов.

Лукошкин вял критике, решил исправляться. Стал искать в читательской почте подходящие письма и вдруг наткнулся на стихи. Какой-то учитель Л. Ядолов из глубинного села Ясенки прислал стихотворение о природе. Стихотворение Лукошкину понравилось, и он запланировал его на воскресный номер. Напечатал и доволен: вот, мол, сам «организовал», а вы все... Но радость его длилась недолго,

в понедельник выяснилось, что напечатал он акростих: если читать сверху вниз начальные буквы каждой строки, получалось: «Дурак Лукошкин наш».

После этого Лукошкина уже без всякого разбирательства райком снял с редакторской работы. Скатился Лукошкин с районной журналистской вершины, как вот это мое полено.

А в редакции люди вдруг ожили! Вернулся туда Володя Лапкин — он оказался настоящим поэтом и отличным фельетонистом. Кстати, проделка с акростихом — это его рук дело. Да об этом говорит и подпись, если ее прочитать справа налево. У забитой, молчаливой заведующей отделом Сойкиной вдруг прорезался талант острого публициста и очеркиста. Даже Глеб Иванович стал выезжать в командировки и привозить оттуда добротные репортажи, зарисовки, очерки о передовиках. Словом, каждый вдруг как-то проявился, обозначился, заискрился, в редакции появился дух соревнования, рабочий азарт, и газета расцвела, ее заметили, стали читать. А до этого ее как будто и не существовало совсем.

...Вспомнил Лукошкина и задумался. Странно: полено, бревно — и вдруг напомнило мне человека.

Марши прекратились, через какое-то время труба проиграла отбой, и вскоре у костра появились люди: уложив солдат спать, офицеры возвращались к своим палаткам.

Начались веселые рассказы, смех.

Я тоже не молчал и рассказал одну историю. Это была история с нашим Лукошкиным.

Костер догорал, офицеры начали подбрасывать в него мелкие веточки. Я увидел, что дело дойдет до полена, встал и палкой отбросил смердящее едким дымом бревно подальше в кусты, чтобы не соблазнился кто, как и я, и не положил бы его снова в костер.

Кто-то из офицеров удивился:

— Зачем? Пусть бы горело...

— А ну его... Да и поздно уже, спать пора: завтра рано вставать...

## ЛИСИЧКИ

Видел я как-то: поймав маленькую рыбешку, удильщик осторожно снял ее с крючка и, отпустив снова в воду, наказал: «Иди и приведи папку и мамку».

Не знаю, приводили ли рыбешки своих родителей ему раньше, но на этот раз попалась на редкость неблагодарная малявка: сама уплыла, а прислать никого не прислала. Я думаю, что умные дети так и должны поступать. И как я замечал, у рыб чаще всего так и бывает.

А вот у грибов наоборот. У них попадетса один и тут же выдаст не только своих родственников, а и всех соседей, которые живут с ним на

одной поляне. Глупые они, или злые эгоисты, или, может, просто трусишки — не пойму их. Но о том, что они такие, знаю точно, сам тому был свидетель и не раз.

Один случай мне особенно запомнился. Иду как-то по лесу, палочкой-развилочкой листья опавшие тревожу, молодым пушистым елочкам под ветки заглядываю. И вдруг... Грибы ведь всегда находишь вдруг, хоть и ищешь их целый день. Так вот, вдруг под разлапистой веткой, которая лежала почти на земле, увидел лисичку. Молоденькая, нарядная, стоит почтится своей красотой. Юбочка на ней желтенькая, плиссированная, точь-в-точь как у нынешних модниц, только и разница, что складочки книзу на нет сходят. Солнечный луч упал на нее — и засияла Лисичка, заулыбалась.

— А что же ты одна? — спрашиваю. — Где же твоя сестричка?

— Да вот рядом, — отвечает. — Она болеет, листочком накрылась.

Отбросил я большой почерневший осиновый лист и вижу сестричку. Она и правда больна. Юбочка на ней обвисла, складки смялись, да и вся она какая-то дряблая, посеревшая. Жаль, совсем молоденькая, ненамного старше своей сестры, а может, они даже близнецы, но вот приключилось что-то с ней. То ли утренник прихватил ее, одетую налегке, то ли еще что. Одним словом, беда, не стал выяснять какая. Оно ведь не всегда приятно о беде рассказывать как людям, так, думаю, и грибам.

— Вы что же, вдвоем живете? Есть ли у вас брат?..

— Есть. Только он еще совсем несмышлениш. Вот он под той веточкой гуляет.

Приподнял веточку, смотрю — стоит малыш. Такой маленький, кругленький, как пуговка, на сестер даже и не похож еще. И такой чистенький, ухоженный — любо посмотреть.

— Мама о тебе, видать, заботится! — говорю ему.

— Да, — сказал он. — У меня мама хорошая. Можете убедиться — она с той стороны елки стоит.

Оставил я мальчонку в покое и — к маме. Батюшки! Какая солидная и красивая дама! Увидел и остолбенел: никогда я не встречал таких роскошных лисичек. Ну прямо драгоценная, похожая на лилию, ваза из музея. А что за наряд на ней! Плиссированное платье мягкими изгибами ниспадает до самой земли. И цвет у него не такой, как обычно, не ярко-желтый, а темноватый, с красноватым отливом. Одним словом, все подобрано по тону и по комплекции, и сделано это с большим вкусом и знанием дела.

«Наверное, — думаю, — муж ее высокий пост занимает, хорошо зарабатывает. Вот бы познакомиться с интеллигентным человеком».

— У нас папки нет, — услышал я голос малыша. — Он нас бросил...

— Неужели?

— Да, к сожалению, это правда, — сказала Лисичка-мама печальным голосом.



— Как бросил?! Такую жену, троих детей! Такого чудесного малыша, больную дочь оставил!

— Что поделаешь? Успех кружит голову и мужчинам. Хотя он всегда был порядочным эгоистом. Любил обращать на себя внимание, старался быть всегда на виду, первым. И теперь вот... Все Лисички как Лисички, знают, чего они стоят и почему за ними охотятся. Появляется человек с лукошком — прячемся. Кто под кусты, кто в желтые березовые листья. А он увидел красивую женщину в золотых очках и решил покрасоваться перед ней. Вышел на чистую полянку, прямо против солнышка встал — вот, мол, какой я красавец. Хочешь, возьми меня. Ну та, понятное дело, взяла...

— Женщина в золотых очках! — воскликнул я. — Какое легкомыслие!

— Да, — придавленная горем, Лисичка-мама качнула головой. — Вы правы, он всегда был немного легкомысленным.

— Я не о нем...

Когда я пришел к нашему биваку, там уже дымился костер. Жена раздувала его. Увидев меня, поднялась с колен, сняла очки, стала протирать глаза — они слезились от дыма. А я смотрел на позолоченную оправу ее очков и молчал.

— Что с тобой?

— Как ты могла! — наконец выдал я из себя.

— Что-нибудь случилось? — прищурилась она и надела очки.

— Ты находила красавца на открытой поляне?

— Да. А что?

— Как ты могла! Ведь ты осиротила троих детей! Без отца осталась больная девочка и малыш вот такой крохотный, как кнопка. А другая дочь его, студентка, теперь, наверное, бросит институт, и что будет с нею? Ты овдовила прекрасную Лисичку-маму...

— Кто бы мог подумать, — спокойно сказала жена. — Такой красивый, такой порядочный — разве можно было предположить.

Она взяла нож и помешала на сковородке начавшие шкворчать грибы.

— Он там?

— Да. А что?

«О жалкий жребий твой, красавец эгоист!»

— Кто бы мог подумать, — повторила жена. — А ведь он сказал, что одинок...

— И ты поверила?... — Я сидел на траве и смотрел на многочисленные желтые листочки, которые устлали землю. И мне казалось, что это не листья, а выбежали все Лисички, чтобы проводить в последний путь самого красивого из своих сородичей. — Послушай, он тебе сказал, что он одинок?

— Да. А что?

— А почему он это сказал?

— Известно почему. Почему вы всегда незнакомой женщине говорите, что одиноки?

— Нет, мне кажется, тут не то. Этот гриб — герой. Он сказал тебе, что одинок, чтобы спасти семью! Он пожертвовал собой ради семьи!

— Не думаю. Он был слишком красив и слишком самоуверен, чтобы пойти на такое самопожертвование. Он просто забыл о семье в тот момент.

Моя жена не была самоуверенна, и я ей поверил.

## СИНИЧКИ

Утро серое, пасмурное: трудно определить — рано ли, поздно. Вставать не хочется. Да тем более и не очень нужно: начался отпуск. Никуда спешить не надо. И вдруг в окошко стук-стук. Поднял голову, вижу — синичка висит на форточке, увидела меня, пискнула:

— Вставай, лежебока... Покормил бы хоть...

Отлетела на дерево и затенькала звонко, однообразно, но как-то весело, по-весеннему: «Тень-тень... тень-тень... тень-тень».

«Неужели весна скоро?» — невольно подумалось, и на душе сразу сделалось теплее. Тут же поднялся, высыпал из коробки печенье на газету, а в нее накрошил булки, нарезал мелко сыра, колбасы и выставил в форточку. Не успел руку отнять, синичка уже тут как тут, прилетела, схватила крошку — и на ветку. Склевала и запрыгала радостно, засуетилась игриво, присвистнула. Смотрю: откуда ни возьмись — их уже две оказалось на ветке, потом три, пять... Налетают на кормушку, сначала по одной — по очереди, потом по две, по три сразу. Вскоре осмелели, не стали и улетать, а тут же кормятся в коробке, только головки их время от времени мелькают: то одна поднимает, посмотрит — все ли спокойно, то другая. Случалось, что иная налетит с ходу, вспугнет сидящих в кормушке, и те, вместо того, чтобы лететь наружу, вдруг влетают в комнату.

Влетела одна такая, села на стол, смотрит удивленно блестящей точечкой глаза на меня, ждет чего-то. Я затаился — не испугать бы, а то взлетит с перепугу, ударится о стекло.

Смотрела-смотрела — не опасно, и запрыгала по столу, какие-то крошки стала собирать. Потом перебралась на окно, в щелке муху сонную увидела, склевала с удовольствием. Я устал сидеть скованно, пошевелился незаметно, и она тут же выпорхнула в форточку.

С тех пор все чаще и чаще в комнату стали залетать и другие синички и уже не только случайно, но и нарочно. Особенно когда на месте не оказывалось кормушки: заглянут в форточку и тут же — прыг в комнату. По столу бегают, по полу. На люстру усядутся, смотрят сверху. Одна настолько осмелела, что совала свой носик почти под самое перо. Наверное, думала, что это клюв у меня такой и я им клюю что-то вкусное. А я работал.

Так мы и жили. Привыкли друг к другу, я к синичкам, они ко мне, и я уже не мыслил дня прожить без этих доверчивых живых существ. Каждое утро начиналось с того, что я в первую очередь наполнял для них коробку из-под печенья, а потом уже принимался за свои дела.

Было их штук десять, а то и больше, и все разные. Я всем им дал имена, и они, казалось мне, откликались на них. Одну я прозвал Мадам. У нее была большая, даже глаза закрывала, черная шапочка, похожая на капор, и очень большой галстук — под шей широким, и тянулся он через все брюшко. Было в ее наряде что-то старомодное, а внешне она была крупной и держала себя солидно. Другая — Дипломатка. Шапочка у нее поменьше, чем у Мадам, но тоже большая — почти до глаз, а дальше будто газовая вуалька заброшена. Щечки маленькие, беленькие. Галстук бабочкой, брюшко чистое, яркочанареечное. Сама вся изящная такая, деликатная. Студентка — совсем без галстука, у нее простой черный воротничок и желтенькое брюшко. Скромненькая. У Модницы тубетейка маленькая, надета кокетливо на самую макушку, а через глаз по диагонали шла черная полоска. У Стиляги тоже маленькая тубетейка. Щечки с зеленоватым отливом. Вокруг шеи черный воротничок, а длинный узкий галстук тянулся через все брюшко.

Маленькую серенькую гаичку я назвал Мурзиком, а толстая синица, у которой был не галстук, а настоящая манишка, закрывавшая всю шею, грудь и даже брюшко, получила имя Банкир. Вот и все, пожалуй.

Нет, не все. Был еще Студент. У него короткий галстук, грудка желтая. На брюшке узкая черная полоска.

Не только по «одежде» я им имена придумал, но и по тому, как кто себя вел, какая осанка, характер. Вот, например, Капризуля. Прилетит, посмотрит в один угол кормушки — не нравится еда, в другой — тоже. На «мордочке» написано разочарование: «Какое однообразие!..» И не скоро выберет, что бы такое клюнуть. Наконец выберет, клюнет и потом долго нянчит крошку в клюве, прежде чем проглотит.

Была среди них и Мечтательница. Прилетит на кормушку, клюнет несколько раз, поднимет головку и задумается о чем-то. Думает, думает, пока не задремлет. Головка клонится, клонится книзу, синичка клювиком пошевеливает во сне и вдруг встрепенется, как усталый пассажир в электричке, осмотрится, снова клюнет раз-другой и опять задумается. А то была еще Нахалка. Другие, если кто-то кормится в кормушке, обычно ждут своей очереди или садятся на свободное место. Эта же никогда не ждет, налетает с ходу, всех разгоняет и всегда ест одна, притом долго, основательно, не торопясь. Наконец, у какой-то синицы лопается терпение, и она осторожно садится на уголок кормушки, подальше от Нахалки. Нахалка тут же подскакивает к ней и сталкивает грудью с кормушки.

В общем, жили мы мирно и дружно довольно долгое время, пока на кормушку не прилетела новая птица. Она была раза в два больше самой крупной синицы, серенькая, брюшко белое, нос острый, длинный и хвост острый. Не птица, а веретено какое-то. Прилетела на кормушку, синиц распугала — те бросились врассыпную. В комнату сразу три влетели. Испуганные, носятся по комнате, места себе не находят, в форточку лететь боятся — там это «веретено» долбит сыр.

Я поднялся, чтобы навести порядок, заглянул в форточку.

— Эй, откуда ты такой прыткий? Ишь, «чижик» какой объявился!

Я вспомнил давнюю нашу детскую игру «в чижики»: мы брали толстенькое коротенькое, сантиметров десять—пятнадцать, поленце, остругивали его с обоих концов, как двухцветный карандаш, и били палкой по острому кончику. «Чижик» подпрыгивал, и тут, уже на лету, его надо было еще раз поймать палкой и послать как можно дальше.

— Я не чижик, я поползень, — сказал мне новый гость.

— Это тебя не извиняет... Ты почему так нахально себя ведешь? Тебя кто сюда звал? Пошел, пошел вон, — я стал рукой махать, отгоняя его прочь. Но поползень и не думал улетать. Он только крепче вцепился когтями в край коробки и, откинув назад голову, смотрел на меня пронзительно, сердито. — Пошел, пошел, — высунил руку в форточку, а он только отстранялся подалеже головой, чтобы я не задел его пальцами. — Не для тебя, не для тебя тут приготовлено. Пошел. Такой большой, а маленьких обижаешь.

— Кого я обидел? — укоризненно спросил меня поползень. — Кормушка-то для всех?

— Как раз не для всех.

— Частную лавочку устроил?

— Представь себе — частную: от своего завтрака приношу сыр, масло, колбасу, булку. А иногда в буфете прикупаю и кого хочу, того кормлю. Никто мне не указ.

— У-у, частник проклятый, — сказал поползень и отцепился от кормушки. Он перелетел на сосну и, повиснув вниз головой, сердито смотрел на меня. — Вечно этот частник что-нибудь придумает вредное. То себе все тянет, а если станет доброту проявлять, — тоже не просто, по выбору: одному дам, другому нет. Раздор сеет.

— Ну что ты ругаешься? Ты сам рассуди: продукты мои? Мои. И я вправе ими распоряжаться, как хочу. Так или не так?

Поползень обежал вокруг ствола, остановился.

— Это с твоей точки зрения так — частника, а с точки зрения общечеловеческой? Ну скажи вот: почему ты одних кормишь, а других гонишь? — Поползень прищурил глазки в ожидании ответа. — Почему?

— Я люблю синичек... Они маленькие... Веселенькие... Им трудно перезимовать... Ну, что еще? Они труженицы летом...

— А другим, значит, по-твоему, зимовать легко? И все другие, значит, по-твоему, тунейдцы? По-моему, ты просто эгоист, жадина и невежда, а синички тебе нравятся потому, что они хитрюги и верхивостки.— Он взлетел стремительно, спугнул сидевших на ветках синиц, будто хотел их пронзить, и умчался в лес.

— Вот так-то...— я оглянулся на присмиривших на люстре синичек.— Видали, каков гусь?

— Он совсем не гусь,— сказала Дипломатка.

— Оскорбил всех, обозвал...

— Это он от обиды.

— А чего же вы так шарахнулись от него?

— От неожиданности,— пискнула Студентка.

И они одна за другой выпорхнули на волю. А я снова сел за стол, но работа не шла: на душе было скверно, будто ни за что ни про что обидел хорошего человека. Пошел в библиотеку, достал с полки книгу про птиц, нашел страницу, где описывается поползень. Вот и он, «портрет» его тут в натуральную величину. Смотрю — не такой уж он и великан, как мне показалось сначала, и жизнь у него зимой не легче, чем у синиц, труженик он не меньший, чем другие... Выходит, зря обидел... Пожалел несколько лишних крошек.

На другой день все шло, как обычно: изящно, как-то немного брезгливо клевала масло Дипломатка, с достоинством завтракала сыром Дама, щебетали Студенты, также стараясь никому не мешать, хватал из кормушки кусочки колбасы или сыра Мурзик и улетал расклеивать на ветку... А я все поглядывал и ждал поползня. Но его не было.

Прилетел он только на третий день. Прилетел и долго бегал по сосне вверх-вниз, поглядывая на окно. К кормушке приблизился, когда я скрылся в глубине комнаты. Схватил крошку чего-то, не разбирая, и — на дерево. Съел, побегал по стволу, снова посматривает. Я не показывался, и он спикировал на кормушку. На этот раз он решил осмотреться — что бы такое повкуснее взять. Шарил глазами по коробке и случайно заглянул в комнату. Увидел меня в глубине, остановился, насупившись.

— Ешь, ешь,— говорю,— не бойся.

Но он не удостоил меня ответом, тут же улетел.

Много дней прошло, пока поползень простил мне мою бестактность и стал прилетать запросто и кормиться вместе с синицами, которые вовсе его и не боялись, а только чуть-чуть сторонились — на всякий случай.

Однажды я пошел в кино. Было еще светло, и я оставил форточку открытой: к вечеру мои питомцы всегда усиленно кормились. Возвращался обратно уже ночью. Поднялся ветер, завьюжило. Совсем уж было весна наступила, днем солнышко припекало, и вдруг снова завершила зима.

Прибежал домой весь в снегу. Включил свет, только взмахнул шапкой — хотел отряхнуть ее — и тут увидел: сидят на люстре штук пять синичек и поползень с ними. От шума и света они засуетились, забеспокоились. Я не стал отряхивать шапку, повесил осторожно на вешалку и, подмигнув поползню, выключил свет. Разделся в темноте.

— На улице пурга. Спите на здоровье в тепле. Спокойной ночи. птицы, — сказал я своим квартирантам, залезая под одеяло.

— Спокойной ночи, — ответил мне кто-то сверху. И мне показалось, что это был голос поползня.

## ЕЖИШКА

Мы долго ходили по осеннему лесу, заглядывали под каждый пенек, шевелили палочками мягкую постель из опавшей листвы, но грибов не находили. В глазах рябило от узорчатых теней и разноцветных листьев — черных, коричневых, желтых, красных. Особенно много хлопот доставляли светло-коричневые в крапинку и ярко-желтые. Издали, подсвеченные солнышком, они казались то опятами, то лисичками. Вот, кажется, стоит гриб, подойдешь — нет, обыкновенный листок.

Потеряв всякую надежду найти что-либо, мы прекратили обследовать пенки и устремились на солнечную полянку, которая завиднелась вдали. Но по пути нет-нет да и пошурюешь листву — авось гриб обнаружится.

Возле одной березы я ковырнул бугорок, прикрытый сверху длинными космами еще зеленого травянистого куста, и почувствовал под листьями что-то упругое. «Наверное, чернушка никак не выберется», — подумал я и поддел бугорок сильнее. Он поддался и выкатился из-под кустика. Такого видеть мне еще не приходилось, и я присел на корточки, чтобы получше разглядеть этот клубок из листьев и сухой травы. Клубок вдруг зашевелился, и оттуда послышалось шипение. Сняв осторожно листок за листком, как чешуйки, я увидел ежа. Небольшой такой ежишка, величиной с два кулака, немножко раскрылся, показал черный носик, пошевелил им и снова сжался.

Я догадался, что потревожил ежишку, который, завернувшись в мягкое одеяло из листьев, улегся уже на зимнюю спячку. Жаль стало малыша: как он теперь будет? Надо помочь бедняжке, ведь он совсем беспомощный, даже глаз не открыл — спит.

Пока я раздумывал, как помочь ежишке, он проснулся, засопел и еще сильнее сжался в клубок.

— Разбудил-таки... — подсадовал я. — Прости, пожалуйста.

— «Прости», — зафырчал сердито ежишка, высунув наружу черный носик. — Что мне теперь от твоего «прости»? Сначала навредит, а потом прощения просит. Зачем вот ковырял мое гнездо? Да так упорно — палку чуть не сломал?

— Думал, гриб там... Чернушка, думал, там...

— Весь лес истоптали, живого места не осталось, где можно было бы от вас спрятаться,— продолжал ворчать ежишка.— И все ищут что-то, собирают, гребут, режут, рвут — траву, цветы, грибы, ветки. Зачем? Вы что, оголодали?

— Да нет... Просто — выходной, люди выезжают на природу, чтобы подышать воздухом.

— Ну, и дышите. Зачем же вы все губите? Зачем вот тебе тот гриб нужен был? Без него у тебя жизнь прекратилась бы?

— Да нет, не прекратилась бы. Это уже какой-то охотничий азарт действует.

— Жадность обурекает вас, а не азарт. И эгоизм. Только о себе думаете, только о сегодняшнем дне. А завтра хоть и трава не расти.

— Я так не рассуждаю.

— Но поступаешь так.

— Это случайно получилось.

— У одного случайно, у другого нарочно, а результат тот же.

— Ты прав, ежишка. Прости, пожалуйста. Постараюсь поступать иначе. А тебе я помогу, гнездо твое поправлю.

Присев на корточки, я расчистил гнездо, укутал зверушку в листья и уложил его на место. Сделал все, как было, даже зелеными космами травянистого куста прикрыл сверху.

— Спи, ежишка, сладких тебе сновидений до самой весны.

Уложил ежа, и легче стало на душе: доброе дело сделал. «Никому,— думаю,— не скажу об этой встрече. Вдруг найдутся любопытные да захотят посмотреть на зверька. А то и еще что-нибудь похуже придумают. Разные ведь люди бывают».

Да не вытерпел, рассказал все-таки: беспокойство разбирало, не повредит ли ежику то, что я его потревожил.

— Нет,— говорят,— цел будет!

«Цел-то цел...— думаю.— Вам хорошо говорить, а меня совесть мучает: разбудил ежишку...»

К вечеру домой возвращались, не выдержал, завернул к своему знакомцу посмотреть, все ли у него в порядке. Подошел и еще издали увидел: разворочено гнездо. Сунул руку под куст — пусто. «Неужели злодей какой унес ежишку? Наверное, я все-таки плохо замаскировал его...»

Подошли еще грибники, поопытней меня, знают повадки лесных жителей.

— Никто его не трогал, сам ушел,— сказали они.— Видишь, след из листьев тянется? Пошел новое место искать, понадежнее.

— Пропадет ведь, скоро холода начнутся.

— Не пропадет! Теплынь какая стоит, долго ли ему новый дом себе построить?

Может, они и правы: цел будет ежишка. А мне все же обидно — потревожил зверька. Впредь надо быть осторожнее...

## ВОРОБЫШЕК

Рано утром меня разбудил суматошный воробьиный переполох. Воробьи устроили на балконе такой грай, что я не выдержал и, раздосадованный, встал, чтобы разогнать их базар. Но еще с середины комнаты через балконную дверь я увидел, что шумное воробьиное сборище вовсе не похоже на толкучий рынок и тем более на переполох. Тут было что-то другое. Одни из них прыгали по полу и подбирали остатки крошек, которые еще с вечера, смахнув со стола, жена выбросила «птичкам». Другие сидели рядком на ограде балкона, поводили головами и то по одному, то по два разом выкрикивали в пространство свое громкое «чир-чир». Выкрикнут и спокойно ждут своей очереди.

Присмотревшись, я заметил, что это все молодые желторотые воробышки. Нахохлившиеся, взъерошенные, они покрикивали как-то без особого азарта — то ли пробовали голоса, то ли подавали условный сигнал своим родителям.

Базар был, пожалуй, лишь у тех, что спрятались в густых листьях дикого винограда. Там шла громкая перепалка десятка, а может, и больше воробьев. Щebetали все разом, и этот щебет, слившись в один звук, был похож на клочок кипящего котла.

«Э, да у нашего Воробья, по всему видать, сегодня большой праздник! — догадался я. — Вылет воробьят из гнезда! Молодежь впервые выбралась на белый свет. Это, конечно, событие! Тут есть от чего и расшуметься: они ведь впервые видят мир! Да, событие!.. Событие, пожалуй, поважнее, чем для наших ребятишек первое сентября. Только что-то уж больно много их для одного гнезда. А может, они избрали мой балкон местом сбора, или соседи слетелись к н а ш е м у Воробью на такие торжества?»

И я стал искать н а ш е г о.

Н а ш — так мы прозвали воробья, который свил свое гнездо в отдушине над окном и постоянно садился на угол ограды балкона, прежде чем юркнуть в свою квартиру.

Это был старый и мудрый воробей, не первый год уже гнездившийся в этом месте. Головка у него была темно-коричневая, перья тугие, гладкие, чистые. Не то что у других — помятые, грязные. Я н а ш е г о узнавал среди десятков других даже вдали от дома, на бульваре, где у них бывали большие сборы по разным воробьиным торжествам. И Воробыха у него была под стать ему: чистюля, аккуратистка и труженица. Весной, когда они вили гнездо, она наравне с ним носила в отдушину сухие бурьянинки, перышки, и все у них всегда было складно да ладно, ни скандалов, ни раздоров.

Чтобы как-то облегчить их жизнь в эту беспокойную пору, я бросал им на балкон крошки. Они охотно подбирали их, неизменно сзывая на «пиршество» и своих сородичей — такой щедрой была эта семья.



После бурных, стремительных будней у них наступило затишье, и мы видели их теперь чаще по одному, чем в паре: в гнезде появились яички, и их надо было постоянно согреть своим телом, что они и делали очень усердно.

Прошло время, и в какой-то день из отдушины раздались писклявые голоса птенцов. Теперь для родителей началась самая страда: набив клювы разными насекомыми, они без устали с утра до вечера сновали в гнездо и обратно. И всякий раз ненасытные и горластые желторотики встречали их голодными криками, тянулись им навстречу широко раскрытыми ртами, чуть ли не вываливаясь из гнезда.

И вот однажды я заметил, что Воробей мотается один, без Воробихи. Проследил — действительно один, ее не стало. Что с ней случилось, я не знал, но по всему было видно, что Воробей наш овдовел и теперь работать ему приходилось за двоих.

Раньше, бывало, он сядет на балкон, отдохнет, спокойно и беззаботно, как воскресный дачник, неторопливо поговорит с супругой, перышки почистит, а тут работает без передышку: прилетит (во рту каких только насекомых нет — торчат они из клюва, как усы у кота), присядет на балкон, кинет глазами влево-вправо для безопасности и ныряет в гнездо. И такой гвалт там поднимается! Через секунду-две он вываливается оттуда, озабоченный, взъерошенный, и стрелой мчится за новой добычей.

Однажды я поливал цветы, выставленные на балкон, поливал с запасом — на два дня, для чего наполнил водой поддоны до самых краев. И тут как раз прилетел Воробей. Увидел воду, прыгнул к ней и стал пить с жадностью, будто угорелый.

— Достается тебе, брат, одному? — посочувствовал я Воробью.

Он посмотрел на меня:

— А что делать? У нас ведь не так, как у людей: у нас никакая другая воробиха не стнет кормить чужих воробьят.

— Суровые у вас законы.

— Природой так поставлено, — мудро заметил старый Воробей.

— А что с твоей-то случилось?

— Обычная для нас трагедия: злой мальчишка убил из рогатки.

— Как из рогатки? Да разве они все еще бытуют? — удивился я.

— Чудак-человек! — усмехнулся Воробей. — Ты, наверное, думал, что они ушли в прошлое вместе с твоим детством? Ты забыл о рогатке и все забыли? Нет, к сожалению, бытуют. Дурное живуче. Вот игру в лапту забыли, а рогатку нет.

— Жаль... Слушай, Воробей! Почему ты не воспользуешься моей помощью? Я ведь тебе достаточно даю хлебных крошек — кормил бы ты ими своих ребятишек.

— Нельзя. Не могу рисковать. Это я, старый, всего повидавший на свете Воробей, могу есть хлеб. Привык уже. А каково будет малышам,

не знаю. Вдруг такой пищи не вынесут их молодые желудки? Заболеют? Нет... Я должен кормить, как определено природой.

— Так ведь хлеб! Я не знаю существа, которое не любило бы хлеб.

— Хлеб! Для тебя хлеб, а для них — не знаю. Рисковать не буду. Вот вырастут, окрепнут, тогда пожалуйста. Ну, заболтался я...

Воробей склонился к воде, глотнул еще разок и полетел на охоту.

И вот наконец вылет. Оперились воробьишки, покинули гнездо, радуются широкому простору, свету, зелени. Но где же сам виновник этого торжества — наш старый Воробей? Вот уж, наверное, горд и радостен: шутка ли — один пятерых вскормил! Поздравить надо старика.

И вдруг вижу: из дальнего правого конца балкона, пятась как-то боком, растерянно показался наш Воробей. Он отступал от наседавшего на него взъерошенного молодого желторотого Воробьишки. Юнец трепыхал крыльями, лез упрямо к отцовскому клюву и все орал:

— Есть хочу! Корми! Корми! Есть хочу!

Видя такое дело, я быстро искрошил кусочек булки и бросил на балкон. Старый Воробей благодарно кивнул и принялся клевать, делая это неторопливо, явно желая подать пример своему чаду. А тот только на минуту прекратил свое наступление на отца, когда насторожился на мои резкие движения. Но поняв, что ему никакая опасность не грозит, снова стал наседать на родителя. Орет, крыльями трепещет, на корм не обращает внимания, грудью толкает отца, требует, чтобы тот кормил его.

«Что за Воробьишка такой — нахальный, крикливый и ленивый, клонуть крошку у себя под ногами не хочет!» — возмутился я про себя, а вслух крикнул:

— Ты откуда такой взялся? Эй!

Воробьишка оглянулся на голос, уставился на меня сердитыми глазами:

— А тебе что?

— Как что? Возмутительно. Сам не можешь поднять крошку?

— Могу, да не хочу, а он обязан, — сказал мне этот нахаленок. — Предки должны кормить своих детей.

— То, что он был должен и обязан, он уже исполнил все, теперь, пожалуйста, ты ему обязан, — пытался я вразумить несмышленища.

— Нет, — стоял на своем Воробьишка. — Он обязан. Назвался предком — так пусть поворачивается, я не навязывался ему в сыновья. Я имею право, а он обязан — вот и все.

— Боже мой, какая философия! И где ты успел научиться этому? Сегодня только из гнезда.

— Улица — моя школа, — сказал Воробьишка. — Вон моя братва в пыли купается. Батя разве мог дать мне образование? Он только в клюве носил. А обязан был и это сделать, но не сделал.

— Да, старик, не повезло тебе, — посочувствовал я старому Воробью.

— Бывает... — развел тот крыльями. — В одном гнезде росли, было их пятеро. Те, четверо, вон сидят на ограде, радуются жизни, а этот... Все ему не нравится, все ему мало, всем он недоволен, всегда он обижен. И будут вокруг теперь гадать — откуда он взялся такой, кто его таким сделал? Одни будут винить родителя, другие — улицу. — Воробей помолчал. — А все-таки виноват, конечно, я. Случилось это в первый день, когда он только вылупился из яйца. Помню, принес я первого комарика. Кому отдать? Пять раскрытых ртов тянутся ко мне. Но один больше других вытянул шею, горластей других кричит. «Значит, — подумал я, — он голоднее их», — и отдал ему комарика. Вслед за мной прилетела жена моя, покойница, и повторилась та же история. А он понял: кричи громче, будь нахальнее, оттолкни других и тебе больше достанется. И вот он...

— Ну ты! — встрепенулся Воробьишка. — Разболтался, хрыч старый. Давай корми! — И он снова заорал, затрепыхал крыльями, лезет прямо в рот отцу, требует: — Корми, корми, хрыч старый!

— Фу ты, какой нахал! — возмутился я и замахнулся на него. — Один жаргон твой слушать противно.

Воробьи испугались взмаха моей руки, снялись шумной стаей, улетели. Последним полетел к своей «братве» этот желторотый нахаленок. Летел он как-то нервно, взъерошенно, оглядывался недовольно и все что-то кричал сердито на меня, на отца своего, на братьев. А старый Воробей взлетел на ограду балкона, взглянул на меня укоризненно:

— Ну зачем же так? Он ведь еще совсем молодой: вырастет — образумится.

Пожалел! То-то родительское сердце...

## ИГРУШКИ

Грустное настроение создают только что опустевшие, недавно покинутые обитателями загородные дачи. Еще цветут на грядках цветы, еще деревья не тронулись желтизной, лишь кое-где березки уронили на землю первые золотые пятючки, а люди уже убрались в город. Значит, все, кончилось лето...

А ведь еще вчера оно звенело, играло, гомонило — бегали дети, сидели за столами под деревьями веселой компанией взрослые; «гуляли» степенные подростки; женщины варили варенье и обменивались опытом в этом деле; старики приходили из лесу и сортировали на развернутых газетах грибной улов. Словом, была жизнь.

Вчера была, а сегодня ее уже нет...

Грустно, тоскливо, одиноко. Особенно щемящее чувство вызывают брошенные игрушки...

Мы идем с Алешей тропкой к соседней даче, идем по примятому следу грузовой машины, которая вчера увезла соседей. Люди уехали, а форточку закрыть забыли, и белая занавесочка выбилась из нее и трепещет, трепещет, словно машет кому-то прощально или, наоборот, манит кого-то к себе.

Алеша — двухлетний малыш, он уже понимает смысл почти всех обиходных слов, но выговаривает далеко не многие, да и то часто на свой манер. Алеша тянет меня к столу под березами — хочет посидеть на пестрых скамейках из разноцветных реек.

— Там... там... стол...

Стол уже усыпан опавшей хвоей и березовыми листочками, замусорен так, будто сидели за ним люди бог весть как давно. А ведь только вчера здесь было веселое застолье — прощальное, вон и пепел, огражденный красными кирпичами, еще, наверное, не остыл — на этом костерке жарили шашлык, и аппетитный дымок от него щекотал ноздри обитателям дачного поселка. Нет, уже и пепел остыл, холоден и даже мокр после ночного дождя.

А Занавеска машет, машет. Устанет, повиснет безжизненно и снова вспорхнет, замельтешит призывно. Не выдержал я, подошел к ней.

— Ну, что ты так убиваешься? — говорю ей. — Ну, уехали твои хозяева — что ж такого? Ребятам завтра в школу идти — вот и заторопились... Впопыхах, наверное, о тебе и забыли.

— Хорошо, если забыли... — говорит Занавеска. — А если нарочно бросили? Обидно...

— Не думаю, чтобы нарочно, — утешаю я ее.

— Если бы я им нужна была, уже кто-то приехал бы за мной... — печально рассудила Занавеска. — А знаете, как она мною гордилась, моя хозяйка? О, это надо было видеть! Помню, купила она меня в магазине, привезла сюда, подрубила края, продела шнурок, повесила на окно — радовалась, как ребенок. Женщин соседских нарочно заманивала полюбоваться мною, и те любовались, восторгались — кто искренне, кто притворно, но все ахали, вздыхали, восклицали: «Ах, как красиво! Ах, какой материал! Ах, какие цветочки! Ах, как уютно стало!» И так все лето! И вдруг — забыть... Не верится... Тут что-то другое. Неужели так быстро можно разлюбить?

— Всякое бывает, — сказал я ей и, чтобы утешить как-то, добавил: — Но ты не мучай себя напрасно: если тебя так сильно любили, обязательно вернуться к тебе. Жди их, жди их в комнате. — И я стал подбирать край Занавески и запихивать ее в форточку. Она вырывалась, ласково касалась моей щеки, шептала нежно:

— Мне одиноко здесь, возьми меня с собой...

— Это неудобно, — говорю ей. — Ты жди своих, они вернуться.

— Но зачем ты меня опять водворяешь в пустую комнату?

— Так надо: будешь маячить снаружи, тебя дожди будут мочить,

ветры трепать, морозы морозить... Или прибежит случайно мальчишка какой, сорвет и бросит в грязную лужу. Хорошо будет?

— Чего ж хорошего?.. — согласилась она и повисла на своем шнурке за стеклом.

Я закрыл форточку, помахал ей на прощание рукой, она что-то говорила мне в ответ, но из-за стекла я не расслышал что.

— Там тетя? — спросил Алеша.

— Да, там тетя...

На полпути к другой даче мы увидели в траве желтого пластмассового Буратино. Он лежал вниз лицом, грязный, запорошенный толстым слоем пыли. Одна нога у него раздавлена, наверное, кто-то наступил на нее нечаянно, а вместо длинного острого носа зияла черная дыра. Нос, по-видимому, был давно сломан, оторван и куда-то заброшен. Бедный Буратино!..

— Да нет, я не «беднее» других игрушек. — сказал Буратино. — Дело-то не в том, что нас ломают. Такова наша участь: нас всегда ломали. Любознательность — лучшее из качеств детей — тому причиной. И это хорошо! И мы привыкли к этому. Но беда в том, что, узнав мое внутреннее содержание, мой хозяин, как правило, сразу охладевает ко мне, перестает интересоваться мною и забрасывает, если не в траву, то в самый дальний угол.

— Естественно: любопытство удовлетворено, интерес к тебе угас — ты познан. Любознательность повела ребенка дальше — к другой игрушке.

— И опять до тех пор, пока не сломает?..

— Да. И так до тех пор, пока сам он не станет творить что-то новое.

— Пожалуй, — согласился Буратино. — И все-таки я завидую нашим предкам. Когда-то нас было мало, мы были примитивны, но как нами дорожили! Не то, что теперь... Помните, как папа Карло сделал меня? Рубанул топором, струганул ножом, долбанул долотом, ковырнул шильцем. И все! А сколько радости вокруг было, как дорожили мною дети! А теперь?

— Что поделаешь, Буратино? Такова, наверное, наша психология — завидовать предкам. Говорят, древние завидовали еще более древним.

— Дело не только в этом, — возразил мне Буратино. — Я хочу сказать, что нас тогда берегли, ценили больше. Какой-то там орешек, обернутый в «золотую» фольгу, переходил от бабушки к внуку.

— Опять же естественно, Буратино: всегда дороже ценится то, чего мало, что достается большим трудом...

— Вот я об этом и грущу — обесценились мы... Вы посмотрите, что происходит. Например, чтобы сделать меня, создаются целые конструкторские бюро, инженеры с высшим образованием ломают над моей конструкцией головы, собирают меня из железок, вытаскивают на токарном станке из дерева, штампуют из пластмассы, отливают из

резины, раскрашивают в немыслимые краски. Куда там до нас, нынешних, нашим предкам, которых делали папы-Карлиным способом!

— Так это же хорошо, Буратино! Игрушек изобилие — всем хватает, никому не обидно!

— Может быть, но мне-то от этого не лучше: я обесценен. Поглядите, сколько нас, вот таких искалеченных, выбрасывают на помойку. Парадокс!

— Время такое, Буратино. Я только не могу сообразить — к сожалению это или все-таки к счастью. Расточительство — ты хочешь сказать!

— Парадокс, — повторил Буратино. — Люди перестали ценить вещи, которые сами научились хорошо делать. Так что, думаю — к сожалению...

— А может, они перестают быть рабами вещей? К счастью!

— Парадокс, — стоял на своем Буратино.

Я не знал, что сказать ему: вряд ли мы когда-нибудь пойдем друг друга, мы — люди и они — игрушки, хотя и живем мы вместе из далекого далека и жить друг без друга не можем.

— Еще, — сказал Алеша, указывая на Буратино. — Еще... Говори.

— Что ж говорить? Буратино совсем болен, ему нужна помощь, его лечить надо.

— Лечить, — согласился Алеша и поднял исковерканного пластмассового мальчишку, пришедшего к нам фантазией писателя из жаркой страны Италии.

— А меня волнует другое, — раздался вдруг голос из-под куста смородины.

Я подошел, поднял ветку и увидел Петрушку. Он лежал вверх лицом, в глазах его стояли прозрачные слезы.

— Ты плачешь?

— Нет, — сказал он. — Это роса от ночного дождичка. А вытереть глаза мне нечем. Видишь, руки оторваны напрочь.

— Знакомая картина...

— Но меня не это волнует. Прав Буратино — нас всегда ломали, хотя теперь гораздо чаще, чем раньше. Вот моя история, послушайте. Еще два дня назад из-за меня две девочки ссорились, каждая тянула к себе, будто жить без меня не могли, тянули так, что руки из плеч выдергивали. Наконец их мама рассердилась и решила помирить девочек. Но как! Схватила меня и швырнула в одну сторону, а руки мои полетели куда-то в другую. Ну? — покачал головой Петрушка.

— Да, — согласился я. — Несправедливо: ты-то при чем?

— Да ведь даже не в этом дело... — поморщился Петрушка, досаду на мою непонятливость. — Вечером она купила им двух новых петрушек, которые на другой же день девочками были забыты. Ну?

Я молчал, молчал и Петрушка — смотрел в небо широко раскрытыми печальными глазами.

Алеша ждал, когда мы снова заговорим, не дождался, вынес решение сам:

— Лечить... — и поднял Петрушку.

Спожившаяся в глазах впадинах вода потекла по щекам, сделал Петрушку неутешно плачущим.

Незаслуженно обиженные игрушки, которые все лето старались делать хорошее настроение своим хозяевам, приносили им радость, счастье и теперь, безжалостно выброшенные и забытые, наполнили мое сердце тоской до такой степени, что я взял Алешу за руку и повернул в обратную сторону. Но тут снова раздался голос из травы:

— Возьмите и меня с собой...

Оглянулись — лежит в траве белый пластмассовый Кубик.

— Пропаду я здесь один. Меня, правда, дети пощадили — не раздавили и бок не пропороли, но... Но в последнюю минуту почему-то выбросили из ящика. Я даже не заметил, кто это сделал... Наверное, я недостаточно хорош для городской квартиры. Возьмите, я не займу много места. Я не то, что вон тот красный автомобиль, который валяется в кювете, — большой, как собака у здешнего сторожа.

Алеша внял просьбе Кубика, поднял его. Потом мы достали из кювета красный помятый педальный «Москвич» и направились домой — к своей даче. Пришли, думали, похвалят нас — стольким несчастным существам мы подали руку помощи. Но вместо похвалы на нас закричали в три голоса:

— Куда хлам тащите? Мусорщики! Своего мало, что ли? Завтра уедем — свои игрушки побросаете.

— Нет! — сказал Алеша решительно и стал бережно укладывать собранные трофеи под кустик. Укладывая, он что-то бубнил, будто уговаривал их не печалиться.

— Что они тебе сказали? — спросил я у Алеши, когда он кончил раскладывать игрушки.

— Спасибо... — ответил Алеша совершенно серьезно.

А из окна соседней дачи, прильнув к стеклу, на нас печально смотрела одинокая Занавеска...

## ЛАСТОЧКИ

С детства раннего для меня из всех птиц ласточка — самая близкая, самая милая и самая таинственная.

Как себя помню, так и ласточек, жили они всегда у нас в сарае под потолком. На дубовой матице-балке лепили они из глиняных комочков гнезда, вымащивали их мягким пухом и заводили семейства. Сколько радости бывало, когда подрастали птенцы и начинали выглядывать из гнезд! Я тащил тогда в сарай бабушку, показывал ей черноголовых птенцов, и она радовалась вместе со мной, и тут же, в который раз уже, обязательно наказывала:

— Не тронь ласточек, не тронь, не обижай их, гнезда не разорь, из рогатки не бей. Боже тебя упаси — ласточку обидеть, — таинственно шептала она, прикладывая палец к губам.

Зря бабушка так беспокоилась: как можно обижать такую крохотную и такую нежную птичку! Нежную и веселую. Сядет она, бывало, на бельевую веревку и начнет петь. Песенка у нее простая, наверное, в четверть колена всего, но веселая: ля-ля-ля-ля-а-а... Песенку свою она заканчивает протяжно да еще и головкой покачивает. Потом засидит с минуту молча, туда-сюда головку повернет и снова начинает.

Слушаем мы ее, радуемся, и опять бабушка предупреждает:

— Не обижай ласточек, это святая птичка, не бери грех на душу.

А то как-то она сказала мне:

— Если разоришь ласточкино гнездо, они обидятся и хату подожгут.

— Подождут? — удивился я. — Как?

— Подождут — и все, останется без хаты, где тогда жить будете?

— А как же они подожгут? Спичками?

— Сумеют... — сказала она и, подумав, пояснила: — Где-нибудь в костре горящую веточку возьмет и принесет, сунет под застреху — вот тебе и все. Хата вмиг занялась, вспыхнула — и готово: все сгорело, остались без ничего.

Хату жалко. Если сгорит хата — тогда все, нищие на всю жизнь: где матери взять денег, чтобы новую хату построить. Хату жалко.

После, конечно, когда стали постарше, мы поняли, что все эти сказки были придуманы для устрашения нашего брата — детворы, чтобы остановить нас от ненужных поступков. К примеру, все мы знаем, что в колодец плевать нельзя, и поговорка даже в народе такая есть: «Не плюй в колодец: пригодится — воды напиться». Но что мальчишкам-озорникам поговорка! Поэтому для них есть поверье посуравее: «Плюнешь в колодец — язык прыщами возьмется». А уж кто напишет в воду, пусть даже в лужу, тому предстояла самая суровая кара: у того умрет мать. Кто же пожелает смерти своей матери? Никто. Вот и не оскверняли водоемы...

И ласточек не обижали.

Обижать не обижали, а помочь им, приласкать, поддержать ласточку в руках очень хотелось. Просто поддержать, погладить — пусть знает, как мы ее любим, — и выпустить. Пришло как-то такое желание и уже не мог от него отделаться. Выбрал момент и приступил к делу. Как только ласточка в сарай влетела, я прикрыл дверь и стал ловить ее. Она, конечно, в руки не дается, летает из угла в угол, а я за ней гоняюсь, хочу кепкой накрыть. Вспотел весь, надо бы уже прекратить эту затею, тем более, вижу, и ласточка уже устала, еле дышит, но не могу — раззадорился, азарт взял. Наконец поймал. Открыл дверь, вышел на свет, посмотрел на ласточку, а у нее глазки пленочкой затянулись и головка набок откинулась. Неживая!



Испугался я, скорее в сени, там клювиком ее к воде поднес — никакого движения.

Что делать? Как оживить ласточку? О, если бы все вернуть обратно, как было, — никогда бы больше не тронул ее...

Положил ласточку в тень, а сам смотрю на нее — и плакать от досады хочется. «Ну, оживи, — прошу ее. — Оживи, пожалуйста!..» И вдруг вижу: пленочка с глаз сдернулась, потом крылышко подобралось, головка выпрямилась. Ласточка удивленно посмотрела влево-вправо и вспорхнула.

Какая радость! Чудо какое-то, сон! Будто и не было ничего... А ведь было, было! Поэтому я долго после этого караулил нашу хату, обходил вокруг, заглядывал на крышу — не дымится ли где. Но все обошлось — значит, простила мне ласточка, поняла, что не по злому умыслу я тогда загнал ее.

Прошло время, эта история забылась. И снова стали ласточки манить к себе: хочется в гнездо заглянуть, на яички посмотреть — какие они? А как туда заглянешь? Высоко, и дырочка маленькая. И все-таки хочется попробовать, может, удастся, хоть одним глазком?

Подкараулил, когда ласточки в гнезде не было, поставил табуретку на табуретку и полез. Как ни изворачивался, но в гнездо заглянуть не смог — отверстие у него высоко, под самым потолком. Ну, в таком случае хоть гнездо потрогаю — какое оно? Шершавенькое... В этот момент табуретка подо мной закачалась, и я, чтобы не упасть, невольно схватился рукой за гнездо. Даже и не схватился, но оно почему-то отвалилось. Держу его в руках — в нем два яичка и три маленьких, голеньких, совсем беспомощных птенчика.

И опять сердце у меня упало, разум помутился — не знаю, что делать, как быть: сотворил беду — не поправишь.

И вдруг в сарае потемнело. Оглянулся — в дверях бабушка стоит.

— Ой, ой! — запрочитала она горестно. — Ласточкино гнездо разорил! Ой, какую шкочу сделал! А я думаю, отчего это ласточки беспокоятся... Ой-ей-ей!.. Что теперь будет?!

А я стою с гнездом, молчу и сам не знаю, что теперь будет.

— Оно... само отломилось...

— «Само!» А ты как там очутился? — подошла, протянула руки, я положил ей в ладонки гнездо. Она взглянула в него и опять закачала головой: — Осиротил маленьких... Как же теперь быть-то? Иди зови мать, пусть придумает что-нибудь...

— Бить будет...

— Есть за что. Заработал. Иди уж...

Слез я с табуретки, пошел. Но мать все-таки не привел, а принес три больших гвоздя и забил их в матицу по нижнему краешку, где был обозначен след от гнезда. Потом взял гнездо и положил на эти гвозди. Положил и крайние гвозди чуть подогнул кверху — чтобы было плотнее.

Ласточки долго летали вокруг гнезда, беспокойно кричали — пугались гвоздей почему-то.

— Могут бросить...— сказала бабушка.

Но они, на мое счастье, гнездо не бросили, привыкли к гвоздям и птенцов выкормили.

И опять все обошлось, все кончилось благополучно, а меня даже и не били. Пронесло. Наверное, поэтому я не оставил ласточек и на следующую весну — решил помочь им лепить гнезда.

Намесил в консервной банке глины пополам с соломой, как на саман, и принялся надстраивать начатое ласточками строение. Вылепил все как следует, будто горшочек подвесил, оставил только небольшое отверстие. Внутри мягкой сухой травкой выстлал, а сверху куриного пуха положил. Хорошее гнездо получилось. Живите, ласточки!

Но ласточки только полетали-полетали вокруг этого гнезда и улетели. Даже ночевать в сарае не остались. И на другой день они не прилетели и на третий тоже...

С тех пор ласточки в нашем сарае больше не жили.

А вскоре началась война. Бабушка умерла. Потом мы разъехались — кто куда. Дома осталась одна мать. Теперь уже и она бабушка.

Сарай давно снесен за ненадобностью.

Многое переменялось здесь. Но тем не менее, когда приезжаю домой, я всякий раз жду, что меня встретят, как в детстве, «мои» птицы: ласточки, синички, щеглы... Но, увы, их не стало.

А тут вот как-то приехал и вижу: в летней кухне, в уголке — ласточкино гнездо! И ласточки живут в нем! Малыши, уже оперившиеся, выглядывают из гнезда, крутят черными головками, поблескивают маленькими пуговками глаз, любопытствуют, что вокруг делается.

И так мне радостно стало, так трогательно, будто я снова вернулся в свое давнее, никогда не забываемое и такое желанное детство.

— Ласточки! — воскликнул я.

— Да, второй год уже живут...— сказала мать.— Хорошо мне с ними, привыкла, разговариваю с ними.

Сади у меня кто-то пискнул, я оглянулся и увидел на двери ласточку. Она сидела с какой-то мошкаррой в клюве и не решалась влететь в кухню.

— Боится тебя, — сказала мне мать.— Видит — незнакомый. Иди сядь вот там.

Я отошел, сел в сторонке. Ласточка тут же влетела в кухню, отдала корм малышам, но улетать не торопилась. Сначала оглянулась на меня, словно раздумывала: не опасно ли оставлять детей при этом чужом человеке. Наконец решила — улетела.

— Спасибо за доверие! — крикнул я ей вслед и подошел к гнезду.

«Как же оно держится — без подпорки, прилеплено прямо к стене? Ведь может упасть. Укрепить бы его надо как-то...» — подумал я.

Снова возвратилась ласточка, за ней — другая, увидели меня вблизи гнезда, забеспокоились, облетели вокруг моей головы, одна села на дверь, другая — на бельевую веревку во дворе.

— Ну, чего ты испугалась? — сказал я ближней.

— Ты все такой же? — покачала она головой.

— Какой?

— Все любопытствуешь, все помогаешь?..

— Разве это плохо?

— Когда с умом — хорошо, — сказала она. — Но ты, вижу, все тем же ребенком остался.

— Может быть... Мне кажется, все люди — это взрослые дети. Только скрывают.

— А опыт?

— Опыт — да, опыт делает человека мудрым. Свой ли, чужой ли опыт — все равно.

— Но ты, видать, ничему не научился?

— Почему же? Думаешь, гнездо твое буду трогать? Нет, теперь я знаю, чем это может кончиться. Пожалуйста, корми своих детей. — Я отступил от гнезда.

— И на том спасибо, — сказала ласточка и быстро влетела в кухню. Отдала птенцам корм и, не задерживаясь, унеслась на поиски нового.

Птенцы быстро росли, и вскоре они вылетели из гнезда. Угол опустел. Мать сомкала газетную подстилку, которая лежала на полу под гнездом, сунула ее в печь. А стены в углу побелила до самого потолка мелом, аккуратно обвела щеткой гнездо, оставив на нем белую каемку. Сказала:

— Ну, вот и все... Лето, считай, кончилось. Скоро унесут его ласточки далеко-далеко. Еще немного поклубятся тут и улетят. Весной буду ждать снова...

Неделю или две спустя я вышел за поселок. Трава под ногами похрустывала, деревья расцветивались предосенними подпалинками. Люди убирали огороды. Телеграфные столбы убежали старым шляхом через бугор куда-то вдаль. Было тихо, солнечно, тепло. На проводах сидели ласточки. Много. От столба до столба вплотную и в два ряда. «Наверное, у них — большое собрание перед дальней дорогой, — подумал я. — Объясняют новичкам, как вести себя в пути».

— До свидания, ласточки! Возвращайтесь весной, вас ждут!..

На душе было тревожно и радостно, будто я и впрямь побывал в гостях у своего детства...

## МОЛОТОК

Его я нашел на свалке.

Пошли мы как-то в лес за грибами. Но грибов было мало, да и те, что попадались, были либо червивые, либо поганки. И я быстро заскучал, перестал их искать, просто бродил по лесу, ковырял палочкой разные диковинки: то пеня трухлявый распотрошу, то перезрелый дождевик разобью и люблюсь, как из него темно-зеленым облаком пыльца рассеивается. И вдруг вижу: свежая мусорная куча. Совсем недавно, видать, какой-то нерадивый шофер вывалил все это «добро», не пожелав везти его куда следует. По мусору можно очень легко определить, чей он, да только почему-то никто этим не занимается: лес, мол, все скроет, все переварит. Все, да не все. Когда и как переварить ему вот эту кучу из тяжелых чугунных отопительных батарей, ржавых труб, раструбов, вентилях и прочего железного хлама? Все это сдать бы в утиль, в металлолом — польза была бы. А так — сплошной вред...

Стою возле этой кучи и размышляю таким образом, возмущаюсь. Да к тому же и мусор для меня неинтересный, нечем «поживиться». Хотел было уже уйти прочь, как увидел в траве молоток. Несуразный такой на первый взгляд — большой, побитый, с кривой металлической ручкой, он был покрыт свежими крапинками ржавчины, словно его обрызгали красной краской. Я поднял молоток, взял за ручку и сразу почувствовал его необыкновенную ловкость: он держался в руке как-то прочно и ладно, словно я им работал всю жизнь. В меру тяжелый, им было трудно промахнуться.

Вытерев молоток пучком травы, я стал рассматривать находку. Квадратный обушок его был весь в ссадинах, наверное, ему приходилось иметь дело с твердым и острым материалом. Один уголок обушка был сбит. Но особенно, видать, доставалось загибку этого молотка — гвоздодеру. Сделанный когда-то на манер двух заячьих ушей, он был теперь одноухим: левое ухо его отломилось и потерялось. Судя по остаткам наплавленного металла, отламывалось и приваривалось оно не один раз.

Ручка у молотка была необычной — железная, из старой водопроводной трубы. Оба конца ее рваные, будто ее не рубили и не резали, а выломали из цельного куска, как из сухой палки. Верхний конец ручки, слегка сплюснутый и вдетый в отверстие головки, для прочности был приварен. Сварка грубая, с большими напльвами металла, будто застывшая лава на склонах вулкана.

— Неужели возьмешь? — спросила жена, наблюдая за мной.

— Возьму, — решительно сказал я.

— Боже мой!.. Куда он тебе? Кусок ржавого железа... Такую тяжесть будешь тащить?

— Это не просто кусок железа,— возразил я.— Это молоток-ветеран! Если бы он мог говорить, он порассказал бы такие истории!..

— Ненормальный,— сказала жена с сочувствием и не стала больше перечить.

Дома в городской квартире молоток скучал: ему не находилось ни места, ни дела, как старенькой бабушке, приехавшей из деревни. И тогда я отвез его на дачу. Здесь он ожил, повеселел, видать, любил быть в деле. А тут какие-никакие, а были заботы: случилось гвоздь распрямить — молоток этот служил хорошей наковальной, понадобилось забить гвоздь — опять же молоток делал это с охотой и очень умело. Пришлось дрова колоть — и тут мой старый ветеран справлялся лучше других инструментов: вгонял клин в полено легко и привычно.

Однажды приходит ко мне сосед по даче и жалуется:

— Ступенька расшаталась на крылечке, а прибить нечем. Есть молоток, да он легкий, большой гвоздь им не забьешь: отпружинивает, не подчиняется солидный гвоздь такому молоточку. Может, у тебя есть что-нибудь потяжелее?

— Есть,— говорю и показываю ему своего ветерана.

Сосед увидел молоток, заулыбался как-то неуважительно по его адресу.

— Что за синхрофазотрон такой? — А когда взял в руки, лицо его вмиг преобразилось: — О-о! — сказал он и даже головой покачал: — Да, видать, старик побывал в переплетах!..

Через час принес и отдал мне его с большим уважением:

— Хороший молоток!

— Хороший,— сказал я и положил молоток на стол рядом с пластмассовой коробкой для карандашей и ручек.— Я все жду, когда он разговорится да порасскажет мне свои истории. А он пока молчит, видать, обидели его крепко.

— Да нет, дело не в обиде,— вздохнул молоток.— Просто слишком много пришлось пережить. Рассказывать все — вам не переслушать, а выбрать что-то одно, главное не могу: все было главным. Как звенья в цепи — какое из них главное? Любое разорви — цепь распадется. Так и моя жизнь. В скольких руках я побывал — умелых и неумелых — не перечить. О каждом хозяине этих рук порассказать — тоже истории поучительные.

— Расскажи хоть, откуда у тебя эта ручка? — попросил сосед.— Ведь она не твоя, не родная?

— Не родная, верно. Но прикипела — стала лучше родной. А с той, с первой, мне с самого начала не повезло, как, бывает, не везет неудачливому мужу на жену. До войны еще дело было. Мальчишка, фэзушник, то ли по неопытности, то ли за неимением сухих, насадил меня на сырую рукоятку. Так и отправили с партией новых молотков на завод. А там попал я в нерадивые руки. Работал со мной немолодой

уже, но с лендой рабочий. С неделю все шло хорошо, а потом, когда ручка высохла, головка стала болтаться. Вместо того чтобы найти подходящий клин да забить его в ручку, укрепить, рабочий этот только стукнет ею о наковальню и снова бьет по зубилу, рубит железо. Головка на ручке до того разболталась, что от малейшей встряски то запрокидывалась вверх, то опускалась. А так ведь недолго и до беды: молоток может сорваться с ручки и угодить в кого-нибудь. Но случилось другое: рабочий промахнулся. Вместо зубила ударил себя по руке. Ой, как он взвыл! Схватил меня, да в сердцах мною же как ахнет по наковальне. Ручка переломилась, отлетела в одну сторону, а я в другую. А потом подошел да еще и ногой отфутболил меня в дальний угол. Там и лежал я. Если бы был поменьше, может, уборщики и вывели бы меня метлой. Но я тяжелей, метле не поддавался. Долго валялся в углу, пока не увидел меня другой рабочий — старый мастер. Поднял, насадил меня на железную трубу, понес к электросварщику, сказал: «Костя, ну ка капни вот сюда». Костя взял и «капнул» электродом, так «капнул», что аж искры полетели — приварил ручку навек. После этого стал я работать с новым хозяином, устанавливали в заводских цехах отопительные батареи.

— А ухо где потерял? — спросил я.

— Ухо? Ухо я терял дважды. Последний раз — на фронте...

— На фронте?!

— Да.

— Так это же интересно! Расскажи! — стали мы просить его.

И он продолжил свой рассказ:

— Ну, сначала ухо оторвал мне тот самый старик на заводе. Костыли мы с ним в стены забивали. А потом понадобилось один вытащить — не на месте оказался. Старик поддел его уголком уха, нажал, но костыль не поддался. Тогда старик позвал на помощь товарища. Тот предложил удлинить ручку. Удлинили — вставили в нее ломик и навалились вдвоем. Тут-то ухо и хрустнуло. Тогда же они и ручку немного погнули. Сокрушался старик, поднял осколок, пошел снова к Косте: «Помоги беде». Тот помог, приварил. После этого я работал как ни в чем не бывало. Потом началась война, на нашем заводе стали ремонтировать танки. Особенно много их было, когда шли бои под Москвой. Я больше орудовал по ходовой части — траки на гусеницах меняли. Но приходилось и много разной другой работы делать. Мною довольны были. И вот как-то молодой паренек, танкист-механик, принимая танк, увидел меня. «Эй, отец, подари мне этого инвалида, а то у нас в ящике молотка не оказалось».

Сами знаете, тогда для фронта ничего не жалели, все отдавали, только бы помогло. Не пожалел и старик молотка, отдал, однако сказал танкисту: «Он не инвалид, он труженик. Возьми, пусть он выручит тебя в трудную минуту». Танкист хитро улыбнулся и бросил

меня в ящик с инструментами. Так я оказался на фронте. Зимой под старой Рузой, когда уже немца от Москвы погнали, наш танк подбили: гусеницу порвало. Танкисты стали тут же на поле боя ремонтировать ее. Надо было выбросить разбитый трак и заменить его новым. Вот тут-то мне и досталось! Танкисты били, колотили и обушком и плашмя. Досталось и моим ушам. Приваренное ухо не выдержало, отбилась. А правое ничего, вынесло. Сделали все смелые ребята, сели в машину и помчались догонять своих, а меня впопыхах забыли. Наверное, не заметили в снегу. Так до весны я и пролежал на поле. Уже во время посевной меня нашли и привезли в МТС. Там я ремонтировал трактора, комбайны. Потом попал в колхоз и тоже работал по ремонту техники. Иногда, правда, брали меня на строительство, теряли, опять находили и приносили в мастерскую.

Молоток помолчал и с грустью добавил:

— Ценили меня... Везде ценили. Из рук, бывало, не выпускали. Один бросит, другой берет. Так набьет мне лоб, что дотронуться нельзя — до того накалялся. Нужен был. А когда колхоз разбогател, купили нового инструмента. Много! Разного... Хороший инструмент, ничего не скажешь, — красивый, удобный. Конечно, таким работать приятней. Ну, а меня — на свалку...

Молоток замолчал. Сосед вздохнул, сказал мне:

— Ты береги его.

— А я и берегу. Он у меня всегда на почетном месте. У тебя что стоит вот на этом углу стола?

— Маленькая копия Венеры Милосской.

— Вот. А у меня тут — старый молоток. Думаю, он заслужил это.

С тех пор так и лежит у меня на столе этот заслуженный ветеран. Если нужно, он охотно выполняет свои прямые обязанности — выпрямляет и забивает гвозди, дробит камни, понадобится — колет орехи. А летом, когда открыты окна и в них врывается ветер, он помогает мне — удерживает от сквозняка бумаги на столе. И очень часто служит предметом разговора. Иногда шутейного, но чаще — серьезного. Особенно когда в доме появляется новый человек. Еще не было ни одного, кто бы не обратил на мой молоток внимания и не спросил бы, почему он лежит на столе...

## ЛУНА НА ВЕРЕВОЧКЕ

Ленка — наша соседка, живет вдвоем с матерью в шестнадцатиметровой комнате.

Ленка — первоклашка, шустрая и любознательная. А любознательность у нее какая-то неженская — с женщинами ей скучно, тянется к мужчинам. Если я что-либо мастерю, она с интересом

наблюдает и охотно помогает, если иду гулять, ее трудно удержать дома. Если идут женщины, а я остаюсь, тоже останется. Мать, чувствую, уже немножко ревнует ее, с трудом сдерживая себя, она упрекает дочь:

— Ленка, так нехорошо: ты надоела дяде... Ты ему мешаешь.

Ленка смотрит на меня, ждет, что я скажу. А мне и мать не хочется обижать, а ребенка — тем более. Но надо выбирать кого-то одного, и я говорю:

— Ничего, не беспокойтесь... Она мне не мешает...

Ленка расплывается в счастливой улыбке.

Она и правда не мешает, любознательность ее не надоедливая, по правде говоря, мне самому интересно с ней.

Как-то мы вышли вечером погулять. Было то время, когда солнце еще не успело скатиться за горизонт, а луна, круглая, большая, уже поднялась над крышами, над деревьями, и была она какой-то необычной: не желтой и не красной, а белой, будто и не луна вовсе, а круглое облако. По мере того как сгущались сумерки, луна поднималась выше, уменьшалась, плотнела, наливалась желтой краской.

Мы шли, смотрели на луну, я рассказывал Ленке, как раньше объясняли изображение на луне — будто это два брата повздорили и один другого вилами поддел. Ленка смеялась: она знала о полетах на Луну, знала, что это горы, но когда луну заслонила высокая жилистая башня, она вдруг потянула меня в обратную сторону:

— Пойдем назад, еще посмотрим на луну.

И я решил пошутить.

— А ничего, — сказал я. — Я ведь держу ее на веревочке. Сейчас вот только переброшу через дом, чтобы веревочка не зацепилась, и все... — И я сделал движение рукой, подобное тому, как это делают водители троллейбусов, забрасывая веревку на крышу машины. — Вот так... Ага, кажется, не зацепилась... — мы прошли дом, и луна снова засияла на небосводе, а я уже не опускал руки и держал ее так, будто держу тугую нить от запущенного змея.

— Как это? — удивилась Ленка, раскрыв широко глаза.

— Так, — сказал я просто.

— А где же веревка?

— Так она же невидимка.

— А! Не бывает. Сказка?

— Нет, не сказка. Ведь ты сама видишь, как я тащу луну? Смотри, она все время идет за нами. Вот сейчас перебросим веревочку через дерево... Вот так... Во... Все нормально! Пошли дальше.

Ленка, вижу, засомневалась: верит и не верит. Больше, конечно, не верит, но заинтересовалась. Любопытство (а может быть, приняла игру?) взяло верх:



— А мне можно подержать?

— Можно. Давай твою руку. Бери. Держишь? Вот так. Только покрепче держи.

Ленка «взяла» веревочку и «повела» луну дальше. Она была в восторге, что луна подчиняется ей.

— А можно обратно ее потащить? Домой? Чтобы маме показать?

— Можно.

И мы повернули в обратную сторону. Через деревья, через высокие строения я помогал ей «перекидывать» веревочку. У самого дома Ленка передала мне луну и побежала в квартиру, вытащила всех на улицу и стала показывать, как мы водим за собой луну. Но ни Ленкина мать, ни моя жена, видать, ничего не поняли из Ленкиных объяснений. Они лишь для видимости повосхищались, да и то не столько нашей затеей, сколько самой луну — какая она большая. Они, оказывается, ее и не видели до этого. Поохали, поахали и быстренько ушли.

Мы еще немного погуляли с Ленкой, и я запросился домой.

— А луну куда? — спросила она.

— Отпустим. Пусть плывет сама, куда хочет.

— А куда? А вдруг она улетит насовсем?

— Не улетит.

— Нет, улетит. Надо ее привязать.

— Ну, что ж... Давай мне веревочку, а сама беги домой и выйди на балкон. Я передам тебе веревочку, и ты привяжешь ее.

Ленка быстро помчалась в дом и через минуту, свесившись головой вниз, кричала мне:

— Отпустайте веревочку, я уже поймала ее. Отпускайте!

Я «отпустил» веревочку и пошел в дом. Луна огромным шаром висела над нашим балконом и светила прямо в комнату.

Когда Ленку позвали спать, она не сразу и с большой неохотой покинула балкон. Подошла ко мне, спросила шепотом:

— А почему это? — она кивнула на луну.

— Что почему?

— Почему она ходила за нами туда-сюда?

А я и сам толком не знаю — почему. Сказал:

— Да нет, Лена, она не ходила, она стояла на месте, а ходили мы с тобой.

— Нет, она ходила. Я же видела. Почему?

— Наверное, оттого, что она очень далеко, и нам кажется...

— Нет, она близко, вот же она.

— Далеко. Очень далеко.

Ленка вздохнула.

— Она будет до утра висеть?

— Нет, Лена. К утру она уйдет и только завтра вечером появится опять в том же месте, где мы ее поймали сегодня.

— И мы снова поймаем ее?

— Поймаем.

Ленка ушла, а я вышел на балкон и долго смотрел на луну, будто видел ее впервые. Ведь она самый близкий к нам неземной предмет, там уже побывали люди, а все равно — какая же она, далекая, таинственная. А что же делается там, на тех мираадах звезд, которые мерцают россыпью мелких огоньков по всему ночному небу?..

## ВНУК РОМКА

Когда у Клавки родился сын от третьего брака, Карпо не выразил по этому поводу ни радости, ни сожаления. Он только подумал: «Ну и ладно... Лишь бы жили как люди».

Внуками Карпа не удивишь: у Никиты трое, у Петра двое, да и у Клавки это третий — от каждого мужа оставалось по ребенку. У Никиты старший уже в армии служит, вернется скоро, затеет жениться, не увидишь, как и прадедом делает.

Думал Карпо когда-то: вот вырастит детей, и настанут спокойные денечки. А они и выросли и сами отцами стали, а покоя ни ему, ни его Ульяне не дают. У ребят с семьями ничего, ладится. Не так, правда, как хотелось бы, но живут. А вот у Клавки беда: что ни мужик, то пьяница. С первым развелась, нашла другого — еще хуже. Пил, куражился... Дурной был. Хорошо, заваялся куда-то, на стройки в Сибирь, вздохнули без него. А Клавка уже совсем отчаялась — нет ей счастья в жизни. Сама стала топить горе в вине.

Работала она в багажном отделении на станции, нашлись там какие-то утешители, чуть не сгубили бабенку. Все чаще и чаще прибегала старшая Клавкина — Надя. Прибежит, вся в слезах: «Мамка пьяная пришла с работы, ругается, посуду бьет». И бегут потом к ней или Ульяна, или сам Карпо, а то и вдвоем — когда как. Утихомиривали ее, на другой день стыдили, вразумляли. В ответ она только плакала.

А тут как-то уже под вечер заявила Надюшка и сестренку с собой прихлокла. Вспокоились старики:

— Что случилось? Опять?..

— Она дядьку какого-то привела, а нас к вам отослала.

Карпо с Ульяной переглянулись — этого еще не хватало! Быстро оделись, подались к дочке. Детей оставили у себя.

Пришли, видят: Клавка на кухне что-то готовит, а в комнате за столом сидит мужчина — смуглолицый, черноволосый, то ли узбек, то ли еще кто. Не разбирались в этом деле Карпо с Ульяной. Да и разбираться некогда: не это главное. Может, и русский, мало ли на свете русских с чернявым обличем?..

Мужчина несмело поднялся, поклонился старикам, сказал:

— Здравствуйте... — И посмотрел в сторону кухни, словно хотел

позвать себе на помощь Клавку, но не позвал. А та и сама услышала, вышла веселая и трезвая:

— А-а!.. Так и знала, что вы прибежите. Знакомьтесь. Это Роман, мой муж.

Ульяна взглянула на Карпа: как быть? Тот стоял, поджав губы. Наконец сказал:

— Муж, значит... А интересно знать — надолго?

— Чего загадывать наперед? Как получится, — сказала Клавка.

Роман молчал, только поглядывал то на стариков, то на Клавку.

— Да вы садитесь. Садитесь и поговорите, как следует, раз уж пришли. А я обед пока приготовлю, пообедаем вместе. — И Клавка ушла обратно на кухню.

Карпо подвинул стул, сел. Рядом примостилась Ульяна. И только после них опустился на стул Роман.

С чего начинать разговор не знали. И тогда Ульяна выпалила, кивнув в сторону кухни:

— У ей же два дитя! Вам известно об этом?

— Да, — сказал Роман. — Я знаю...

— Ну?

— Дети — это хорошо, — уточнил он.

Ульяна смешалась, посмотрела на Карпа: мол, почему молчишь. спрашивай. И тот спросил:

— Дак вы как это?.. Усурьез или так?..

— Всерьез.

— Угу. А кто вы будете? Откуда?

— По специальности я слесарь. Работаю в вагонном депо.

— А родители кто? — подбросила вопрос Ульяна.

— У меня нет родителей, я детдомовский. Живу в общежитии.

Замолчали, спрашивать больше вроде было не о чем. Ульяне хотелось узнать, пьет ли он, но об этом так прямо не спросишь. И еще ее распирало узнать, какой он веры: совсем на наших не похож — сукулат, узкоглаз, и кожа сильно темная, видно, что не загар. Но об этом спрашивать тоже было как-то неудобно.

— Ну, все выяснили? — из кухни вышла Клавка с тарелками.

— Нет, не все, — сказал Карпо. — А как с детьми думаете?

— Как? — удивилась Клавка. — Обнаковенно. Скажи, Роман.

— Я буду им отцом, на себя запишу, — сказал Роман.

— А зачем вы тогда их прогнали к нам?

— Во! Прогнали! — обиделась Клавка. — Отослала на время...

У нас же и побалакать негде. одна комнатенка.

— Одна или ни одной, — сказал веско Карпо, — а детей спроваживать не надо. Как хотите, так и устраивайтесь, а дети должны быть при вас. С первого дня, с первого часу. И не привыкайте спихивать их на кого-то. Вот вам наш с матерью сказ.

Ульяна согласно кивнула.

— Ладно, — сказала Клавка. — Обедать будете?

— Ели уж.

— Ну, по стопке, со знакомством?

— «По стопке», — заворчал Карпо, однако подвинулся к столу. Ульяна последовала за ним.

Когда Клавка стала разливать водку, Роман накрыл свою рукой:

— Мне не надо. Я не пью.

— Во! — удивилась Клавка. — Для знакомства ж...

— Не надо. Не пью я.

Ульяна насторожилась, потом спросила:

— Вы больные?..

— Нет, просто не пью. Вы выпейте, а я не буду.

Карпо держал свою стопку, не знал, что с ней делать.

— Ну, ладно... Как кажутъ: потчевать можно, а неволить — грех. За ваше здоровье! — выпил, вытер ладонью губы и принялся закусывать.

Ульяна повертела, повертела стопку, сказала:

— Нехай вам щастит. — И тоже выпила.

Уходя, Карпо увидел на полу у двери какой-то ящик. Хотел отодвинуть его ногой в сторонку, но тот не поддался — тяжелый. Карпо заглянул в ящик: в нем полно разного инструмента. Сверху лежал разводной шведский ключ — у Карпа такого не было.

— Что это? — Он снова пнул ногой ящик, но уже не сердито, а скорее уважительно.

— Это Романов багаж, — засмеялась Клавка.

— О, то добрый багаж! — похвалил Карпо. — Такой багаж я люблю.

По дороге домой они с Ульяной обсуждали нового зятя. Человек вроде неплохой. С инструментом пришел — это хорошо. Не пьет...

— Совсем не пьет — даже чудно как-то, — сказала Ульяна. — Не было б тут какого подвоха.

— Да какой тут подвох? — усмехнулся Карпо.

— И веры, видать, не нашей, — сокрушалась Ульяна.

— Как это не нашей? — удивился Карпо. — Чернявый — так что ж такого? — Помолчал. — Придумаешь черт-те што: веры не нашей. А ты какой веры?

— Нашей, какой же, — обиделась Ульяна. — Не знаешь, што ли?

— Нашей! А какой?

— Ну, этой... христианской. А то, еще есть другая. Сектанты. Может, он баптист. Видишь, не пьет. Если не больной, значит, верой запрещено.

— Будто без веры нельзя не пить! Вон Родион Чуйкин не пьет, так что? — сказал Карпо. — Веру какую-то придумала! Ну и пушай! А те обое были нашей веры, чтоб им ни дна ни покрышки.

Помолчали. Карпо вспомнил что-то, усмехнулся, решил подшутить над бабой:

— Скорей всего он из цыганов.  
— Ишо что выдумал! — отмахнулась Ульяна. — И не похож.  
— А што? Тебе ж вера нужна? А у них вера как раз православная.  
— Бреши больше!  
— Они крестятся на иконы и крестики носят. Сам видал. И мастера хорошие. Ковали.

— Цыганва — они на кого хочешь перекрестятся и носить будут что хочешь. Мужики ходят с сережками в ушах. А на цыганках сколько всего навешано. Одних дукачей разных — целые низки висят на грудях, узнай там, какой они веры.

— Вера! Был бы человек хороший. — сказал Карпо. — И перестань, не галди что ни попада. Жили б только...

— Да, то — да, то — да... — согласилась Ульяна. — Дай-то бог.

Роман оказался человеком хорошим. Год уже живет с Клавкой — лучше и не надо. И не только в своей семье хорош, все соседи довольны им: уважительный мужик, общительный. А теперь вот у них и ребеночек родился. Карпо, когда увидел внучонка, немного удивился: «Ишь ты... Смуглявенький... Значит, Романова кровь переборол. Ну и ладно». И опять повторил:

— Лишь бы жили как люди.

Мальчишку назвали по отцу — Романом. Клавка настояла. Уж больно много лиха она хватила от непутевых мужиков, и теперь хотелось ей, чтобы сын пошел в отца. Старики против этого особо возражать не стали, а Роману-отцу даже приятно было такое.

Роман-младший будто знал, чего от него хотят, радовал мать своей похожестью на отца: рос спокойным, крепким и сообразительным. Он ни разу не закапризничал, ни разу ничем не заболел, очень быстро стал узнавать отца и мать. Бывало, подойдет Клавка к его кровати посмотреть, как он там — спит ли, не сползло ли одеяльце, а он, уже проснувшийся, лежит, смотрит осмысленными глазенками в потолок, будто думу какую обдумывает. Увидит мать, улыбнется ей беззубым ротиком и засучит ногами от радости. А Клавка тоже рада, всплеснет руками:

— Ну какой же ты у меня славненький! Это ж ты, наверное, награда мне за все мои мучения?

Услышав голос матери, Ромка ходуном весь так и заходит, ручками, ножками замолотит: говори, мол, мать, говори!

— Да неужели же ты понимаешь, что я говорю? Ну разумник мой!.. Ну умник мой!..

И хвалится Клавка не нахвалится, придет к своим — только и разговору, что о Ромке: как засмеялся, как посмотрел, как откликнулся. Карпо не одобрял Клавкины восторги:

— И че болтать лишнее? Мальчишка как мальчишка. Они все в таком возрасте умные да разумные, а в школу пойдет — куда што девается: дурак дураком.

— Ну да! — не соглашалась Клавка. — Вы поглядите на Ромку, какой у него лоб крутой. А глаза? Рази ж такие глаза у детей бывают? Как бровки насупит, как посмотрит — прямо страх берет, будто в самую душу заглядывает.

— Сочиняй больше! — сердится Карпо. Не любил он эти разговоры еще и потому, что был суеверен, боялся сглазу. «Сглазят мальчишку эти бабы неразумные», — ворчал он про себя и уходил.

А Ромка не унимался, продолжал удивлять всех. Трех лет ему еще не было — сам через весь поселок пришел к деду в гости. Увидела его Ульяна, руками всплеснула.

— Внучек? Один дорогу нашел? — она присела к нему, разговаривает, а сама прислушивается: кто-то же должен вслед войти — отец или мать, а может, Надюшка. — С кем пришел, внучек?

— Сам, — сказал Ромка твердо.

Выглянула Ульяна в сени — никого, во двор — тоже никого. «Спрятались, что ли? Шуткують?» — подумала она, но шутка затянута. Она опять к Ромке:

— Ты с кем пришел, внучек?

— Сам, — повторил Ромка. — Где деда?

— Деда в сарае, — заволновалась Ульяна и бегом к Карпу: — Эй, дед, где ты?.. Иди сюда скорейча. Ты гляди, што вычудил идоленок!

Карпо возился в закутке для поросенка, пол поправлял, вылез, смотрит на жену, не поймет, в чем дело, почему такой переполох. Увидел: ковыляет на не окрепших еще, кривых ножонках Ромка, перелезает через высокий порог, улыбнулся ласково:

— Помощник пришел!

— Да ты слухай сюда, — рассердилась Ульяна, — ведь он сам пришел! Клавка же там с ума, наверно, сходит. Это ж надо? Через пути, через шоссе перешел! А если б тебя машина задавила? — обернулась она к Ромке.

— Не, — сказал тот уверенно.

— Ну, видал такого? Побегу скажу Клавке. А ты гляди за ним, не отпускаяй. А может, домой пойдем? — обратилась она к Ромке.

— Не, — покрутил тот головой. — Деда...

— Ну, ясно: с дедом будет. Побегу. — И побежала.

А Ромка с тех пор, проторив дорожку, как чуть что, так и пошел к деду. Старшие сначала беспокоились, пытались отучить его от этих хождений, но напрасно, а потом привыкли, смирились. И все в поселке привыкли к этой самостоятельности мальчишки.

Шагает, бывало, Ромка по тротуару, руками по-взрослому размахивает, по сторонам не глазет, сосредоточен. Большая голова его чуть вперед наклонена, как у годовалого бычка. Брови сдвинуты, смуглое лицо сурово. Издали видно — крепыш, тяжел, будто свинцом налит, ступает твердо, уверенно. Встречные мужики и бабы приветствуют его:

— Здравствуй, Ромка!

— Здравствуйте, — отвечает он, бросив короткий взгляд на встречного.

— Далеко ли направился?

— К дедушке, — говорит он серьезно и шагает дальше: лишних разговоров Ромка не любит.

Однажды приходит к деду, а тот ручку новую для молотка вырезает. И уже под конец, подчищая ее, приставил одним концом к груди, стал строгать. Ромка наставительно заметил:

— Так резать нельзя.

Карпо посмотрел на него удивленно:

— Ишо што! Учить деда будешь!

— Так можно пораниться, — пояснил Ромка.

— Хм... — Карпо покрутил головой, однако перевернул и ручку и нож, стал резать от себя. — А ты откуда знаешь?

— Знаю... Ты учил.

«Ишь, шельмец, запомнил!»

Карпо не потакал внучонку, был с ним строг, тем не менее тот тянулся к нему.

— Ромка, ты кем будешь, как вырастешь? — спрашивал Карпо внука.

Тот морщил лоб, отвечал серьезно:

— Мастером-слесарем.

Ответ Карпу нравился, хвалил Ромку:

— Молодец. Мастером-слесарем — это хорошо.

Однажды был Карпо в городе, зашел в аптеку купить бабке своей лекарство и увидел в витрине разные медицинские инструменты — пинцеты, ланцеты, ножницы тупоносые... И вдруг видит: среди всего этого блестящего добра лежит молоточек. Обыкновенный никелированный молоточек на гладкой лакированной ручке. «Вот бы Ромке такой купить! — загорелся Карпо. — Только не продадут, наверное». Он долго любовался молоточком, наконец выбрал момент, спросил осторожно у продавщицы, можно ли ему купить этот инструмент.

— Рубль десять в кассу, — сказала та.

Обрадовался Карпо, заплатил быстро, пока продавщица не передумала, взял молоточек, вышел на улицу, полюбовался на солнышке покупкой и сунул в карман. И всю дорогу потом держал молоточек рукой, боясь потерять. А сам думал: «Интересно, зачем он такой врачам? А Ромке — самый раз. Делали б детям всякие-разные такие красивые струменты. приохачивали б их к полезному делу».

Привез домой, позвал Ромку:

— Иди сюда, гляди, што деда привез тебе из города!

Ульяна услышала, спросила:

— Конфету, небось, привез?

— Тебе дак слаще конфеты ничего нет. А тут получче твоей конфеты, правда, Ромка?

Ромка кивнул радостно: подарок ему понравился. Он повертел перед глазами никелированную головку молоточка, хукнул на нее, она затуманилась. Деловито потер о рукав, головка засияла с новой силой. Потом он взял молоточек за ручку и примерился, по чему бы стукнуть. Увидел на табуретке посылочный ящик, прицелился к торчащему гвоздю и с двух ударов ловко вогнал его по самую шляпку.

— Во, есть помощник! — У Карпа было такое настроение, будто он сделал большое и нужное дело.

Читать и писать Ромка научился сам и в школу пошел на год раньше. В первый класс он проходил всего две недели, а на третью его пересадили к второклассникам.

Тут пришлось Ромке утверждать себя и кулаками. В первый же день он подрался и, получив солидный синяк под глазом, домой не пошел, а направился к деду с бабкой. Дома, знал, мать начнет ругать, а то еще и ремнем отстегает.

А дед, увидев синяк, воскликнул:

— О, кто же это тебя так разукрасил?

— Вовка.

— Симаков? Сосед наш? Да он же большой. Связался с маленьким...

— Ничего, ему тоже влетело!

— Влетело? От кого?

— От меня, от кого ж...

— Ну, а из-за чего подрались-то? Из-за дела хоть?

— За дело!

— Может, скажешь?

— Он дразнил меня... Цыганом обозвал.

Карпо помолчал, не знал, как быть, что говорить, наконец сказал:

— Ну и что? Разве цыгане не люди?

— Люди. Но я-то не цыган?

— Нет, конечно,— согласился Карпо.

Не кончился еще у Карпа разговор с внуком, прибежала бабка Марина Симакова, затараторила:

— Это что же такое делается? Избил ваш сапустат нашего мальчика, места живого не оставил: весь в синяках, а лоб до крови рассадил. В милицию пойду, заявлю — пусть хулигана такого в тюрьму посадят.

— погоди ты, погоди кричать,— остановил ее Карпо.— Как же так: ваш такой большой, а плачет? Наш вон тоже размазанный пришел, а я не бегу к вам жаловаться.

Бабка взглянула на Ромку, смягчилась:

— У-у, ироды...

— Ну подрались, ну и што? Это ж дети, все бывает. А если ты пришла правду искать, так ты б лучше у своего спросила, за что ему влетело. Узнала б да, может, еще и добавила б ему, потому как полагается, заработал.



Бабка насторожилась.

— А што такое? Што он сделал? — подступалась она к Ромке, но тот молчал.

— Ты иди у своего выясняй, а мы тут как-нибудь сами разберемся.— Выпроводив бабу Марину, Карпо вернулся к внуку:— Ничего, ничего... Только драться не надо. Обзови и ты его как-нибудь, придумай что-нибудь.

Ромка взглянул на деда укоризненно. Карпо смутился, отвел глаза в сторону:

— Ладно, ладно...

Их беседу подытожила Ульяна, она сказала внуку:

— Драться — это последнее дело. А глаз до свадьбы заживет.— Она приложила к синяку холодный компресс.— У кошечки, у собачки заболит, а у Ромочки заживет,— заулыбалась она.

Но Ромка не принял этой детской игры, стоял насупленный.

Учился Ромка хорошо, на ходу все схватывал, учителя удивлялись его талантности, а Клавка была на седьмом небе от успехов сына.

Карпо же по-прежнему не любил эти похвалы:

— Не галди лишнее. Вот вырастет, станет человеком, тогда и видно будет... Че раньше времени кудахтать?

— Теперь уже видно! — не унималась Клавка.— Вы говорили: «Не хвались тремя днями, а хвались тремя годами»,— а теперь ишо дальше отодвигаете. Оно же видно уже, и учителя говорят...

— Шо они там знают, те учителя? Ну, учится хорошо мальчонка, ну, способный, ну и что? Мало их таких, што ли? Не говори «гоп!», пока на круг не выскочила.

Беда пришла неожиданно. Пришла она осенью, когда ударили первые морозы, которые выстеклили лужи на дорогах и покрыли льдом воду на пруду.

Было морозно, солнечно, а снега еще не было. Ребятишки бежали из школы веселой гурьбой, прокатывались по замерзшим лужам, а потом кто-то крикнул:

— Ребята, айда на ставок!

И все завернули к пруду, с разбегу бросились на лед, покатались. Лед был еще слабый — потрескивал, прогибался, но никто на это не обращал внимания. И вдруг под Ромкой лед провалился, и он ухнул в воду. Остальные в испуге кинулись прочь, на берег, и оттуда смотрели, как Ромка барахтался в полынье, как он цеплялся руками за лед, наваливался на него грудью, но лед обламывался, и Ромка снова и снова погружался в воду. Наконец, кто-то догадался, побежал к Карпу:

— Дедушка Карпо, скорее, скорее, ваш Ромка под лед провалился!

Схватил Карпо лестницу, веревку, подался на пруд. Прибежал, а там в полынье уже и льдинки успокоились, Ромки не видно. Бросил на лед лестницу, пополз на животе по ней, опустил руку в полынью,

стал шарить в ледяной воде — ничего не нашарил. К тому времени народ собрался, как на пожар. Багор подали Карпу, но и багром он ничего не подцепил.

Вытащили Ромку только к вечеру...

Убивалась Клавка, волосы на себе рвала. Молча переживал горе Роман, плакала, причитая, Ульяна. Но больше всех, кажется, страдал от этой утраты Карпо.

Уже прошло с тех пор немало времени, а он не может забыть внука, не может успокоиться, сокрушается:

— Мудрой был мальчишка... Мудрой, головастый... Из него непременно был бы толк. А может, и большого ума человек вышел бы. И вдруг такое... Жаль мальчонку... — Карпо вытирает на-вернувшиеся слезы, задумывается на минуту и продолжает: — Мечтал быть мастером. А ведь был бы! И как же теперь? Он же мог бы дела делать!.. Он же!.. А теперь не будет тех дел... Что же это за жизнь такая? Это же несправедливо. Раз родился человек, значит, он должен исполнить свое предназначение до конца. А так что же получается? Это же не растение какое-нибудь, бутончик там: не успел развернуться, увял почему-либо, отвалился, пропал. Это же человек, с ним нельзя так поступать. А оно, выходит, в природе все едино — что человек, что букашка? Нет, это несправедливо. Так не должно быть... Не должно...

## ПЛАТОНЫЧ

Поначалу Платоныч таил свою слабость — слезливость: он либо украдкой вытирал глаза, либо под благовидным предлогом скрывался в ванную или выходил в коридор, курил там долго и жадно, стараясь заглушить в себе нахлынувшую тоску. Ругал себя. Раньше такое на него накатывало только когда выпьет, расслабитя, расчувствуется. А последнее время, хоть пьяный, хоть трезвый — без разницы, особенно если что касается войны, фронта — тут уж без слез ни говорить, ни слушать он не мог.

Когда скрывать, а тем более подавлять в себе эту слабость Платонычу стало не под силу, он начал жаловаться на нее, как на болезнь, от которой надеялся услышать от знающих людей какое-то средство.

— Черт-те что сделалось со мной, — крутил он изрядно поседевшей головой. — Как худая поварешка стал: чуть что — так и потекли в два ручья. Туча еще вон где, за дальним бугром, а у меня уже дождик... — Щеки и губы его начинали подрагивать, глаза наполнились чистой влагой, и он, разводя руками, стараясь улыбнуться, говорил: — Во! Видал? Ну отчего бы это? Раньше, бывало, не мог смотреть кино про войну. Как увижу что-то фронтовое — так начинает глаза застилать... И будь там хоть победа, хоть гибель — мне все равно: сердце



— Смертей? — задумывается Платоныч. — Много видал смертей, верно. Так ведь и сейчас бывает... Только за одну эту неделю на моих, можно сказать, глазах сколько их случилось: у нас на работе парень на мотоцикле разбился — раз, с Урала известие пришло — свояк, мой годок, умер — два, женщина в соседнем доме отравилась — три... В подъезде парни подрались, одного ножом пырнули. Этот, правда, живой пока. Разве мало? Жалко, обидно, конечно, а все же тут разница есть... Тогда, наверное, за смертью стояло шось и другое... Не просто смерть, не просто гибель.. А? — Ответа на свой вопрос он не ждет, он размышляет вслух. И вдруг вскидывает на меня глаза, говорит хриплым, пополам со слезами, голосом: — Ведь я случайно остался живым!.. Меня ж могло сто раз убить, а я только тремя ранениями отделался... Впереди, позади, по сторонам ребята такие же, как я, гибли, а я остался... Почему? Зачем? Кто это отбирал? Чем они хуже?.. — Платоныч окончательно не сдерживается, слезы текут по щекам, он сердито стягивает их, потом долго вытирает платком.

Мы с Платонычем соседи, живем на одной лестничной площадке, ходим друг к другу не только по делам — за солью там или за спичками, но и просто так. Нравится мне этот человек — прямой, честный, рабочий. По-своему остроумный. Смекаlistый. «Народный умелец» — зовем мы его в шутку. Он много раз поражал меня своим каким-то природным талантом и своей любовью что-то сделать своими руками. Не раз, бывало, специалист бьется, бьется — ничего не получается, а ему пожалуешься, придет, посмотрит, принесет инструмент и сделает. Сделает и долго потом любитесь своей работой. После заходит, проверяет, как себя ведет вещь, сработанная им. Так было с краном, с детским велосипедом, с дверным замком, с люстрой, с немецким складным зонтиком. С этим зонтиком я исходил все мастерские города — нигде не взялись починить. А Платоныч сделал. Сам, дома, своим примитивным инструментом. Недавно мне авторучку японскую к жизни вернул. Уронил я ее, разбился корпус. «Все, — думаю, — пропала ручка...» А я так любил ею работать. Показал Платонычу. Подержал он ее у себя два дня и вернул живой и здоровой. Платоныч сначала склеил ее, а потом нашел, подогнал и насадил на место перелома хомутик. Теперь кто видит у меня эту самописку, удивляется: «Какая оригинальная ручка!» Особенно этот блестящий поясок-хомутик делает ее оригинальной и симпатичной.

Мне очень нравятся руки Платоныча — крепкие, ладони все в мелких порезах, шершавые, с вьезшимся в кожу металлом. Платоныч — металлист, он так себя и зовет: металлист. Работал он начальником литейного цеха на механическом заводе.

И глаза Платоныча мне нравятся — добрые, доверчивые, то грустные, то с лукавинкой. Ласковые такие глаза...

Крепкий мужик был Платоныч — душой и телом крепкий. А тут как-то буквально за несколько коротких лет вдруг стал сдавать.

Больше обычного стал чувствителен, постарел, реже смеется, шутки у него теперь чаще с грустинкой.

Война войной, она, конечно, дает о себе знать, и годы тоже свое берут. Но тут, мне кажется, Платоныча пришибли обрушившиеся на него почти один за другим три события, которые на Платоныча подействовали как удары.

Первый — дочь выскочила замуж за военного, уехала на восток и внучонка Юрку с собой увезла. Затосковал крепко после этого Платоныч, места себе не находил. Особенно без внука ему было тоскливо, остался как без рук. Жаловался:

— Зачем мальчонку потащила? Обжилась бы сначала сама... Может, он и не примет мальчонку...

— А разве Володя не отец Юры?

Платоныч усмехнулся, отшутился:

— Чудной ты! Чем же наша Люська хуже других? Она у нас девка современная! Теперь же как? Сначала дитя родит, потом замуж выходит.

Шутил, а у самого грусть-тоска в глазах; со временем успокоился, но печать какая-то на нем осталась. Чувство одиночества вроде как испугало его.

Второй случай связан с военкоматом. Получил Платоныч повестку — обрадовался, пошел туда как на праздник, торжественный, а возвратился туча тучей. Военный билет в руках принес, с порога швырнул его на стол, да не рассчитал — билет, скользя по гладкой поверхности стола, улетел в дальний угол комнаты.

— Все... — объяснил он коротко на нелепые вопросы жены и мои. — Сняли с учета... Мобилизационный листок выдрали... Больше я не нужен... Балласт... Ну? Уж лучше бы меня оскопили, чем такое надругательство...

— Еще что придумал на старости лет! — возразила жена. — Постыдился бы говорить такое.

— Так все уже... Все! Списан! Выбросили, как ржавую шайку, на помойку. — Он открыл дверь в кладовку, стащил с верхней полки рюкзак, нервно дернул за шнурок, разодрал гузырь пошире и, схватив за нижние уголки, вывалил содержимое рюкзака на пол. Пара белья еще военной поры, теплые носки, котелок, кружка, бритва безопасная с набором лезвий, мыло, платки носовые, нож складной, с ложкой и вилкой, полотенец — весь этот солдатский скарб лежал горкой на полу — Все! Разбирай — куда что, Хоть в мусорный ящик!

Жена стояла, не двигаясь, молча смотрела на расходившегося мужа. Тяжело дыша, он сел на стул, поникнув головой.

Я поднял зеленую книжечку военного билета, стал листать ее. В графе «воинское звание» прочитал: «Старший лейтенант».

— Так вы же офицером были? А говорили — солдат, солдат...

— То после войны уже присвоили... Учился, на сборах был... —

пояснил он нехотя. — Сначала младшего присвоили, потом лейтенанта. Каждые два-три года приглашали на сборы, в звании повышали. Я как-то даже пошутил, сказал военкому: «Я так до генерала дослужу». И после этого будто сам себе напроорочил: вызывать стали реже, реже. Сегодня наконец вспомнили, обрадовался, побежал. Думал: вернусь капитаном, — Платоныч улыбнулся грустно. — Ну, а что им там моя карточка — мешает? Переложи ее в другой ящичек, и пусть лежит, а я буду думать, что я еще... действующий... нужный...

Посидел, утихомирился, принялся снова все складывать в рюкзак.

— Пусть не думают! Без меня они все равно не обойдутся. В случае заварухи я и без листка, без повестки приду на свой пункт сбора.

Успокоил себя Платоныч, однако не совсем, обида осталась, сосала она его, как застарелая болезнь. Седины прибавилось, в походке появилась сутулость, усталость...

Третий случай — самый тяжелый для него, от которого он только-только стал приходить в себя, — пенсия. На торжественном собрании он так разволновался, так расстроился, что не выдержал, убежал. Цветы и транзистор ему привезли на квартиру и вручили в домашней обстановке.

После Платоныч объяснил свой поступок:

— Хвалить начали так, что мне даже стыдно сделалось. Стыдно и обидно. Уж так нахваливали, так нахваливали: и работник хороший, и человек... А если такой хороший, почему провожаете? Не люблю фальши... — Долго сидел, поникнув головой, потом, как бы думая вслух, добавил невесело: — Выбросили... Это, брат, выброс уже такой, что дальше некуда. Куда дальше, что у меня теперь дальше-то? Ниче-го... Сиди теперь и жди ее, косую... Да я понимаю, — вдруг вскинул он голову. — Я понимаю, в этом никто не виноват... Я и не виню никого. Эх, жизнь, жизнь...

Заглянул я к Платонычу как-то перед майскими праздниками — дрель понадобилась: новые карнизы купили на окна, укрепить надо было их. На мой звонок дверь открыла жена Платоныча — Клавдия Петровна, уставшая от жизни полнеющая женщина. Она щелкнула замком и, не взглянув на меня, направилась своей утиной походкой на кухню, бросив на ходу куда-то в комнаты:

— Федор, к тебе...

Платоныч сидел за столом и, оседлав кончик носа старомодными очками — с маленькими овальными стеклами в тонкой темно-коричневой оправе, — читал какое-то письмо. Большой белый конверт с надорванным краем лежал у него под локтем. Лицо Платоныча светилось доброй улыбкой. Он посмотрел на меня поверх очков, кивнул на стул рядом и продолжал читать. Я присел и машинально протянул руку к конверту:

— Можно посмотреть?

Не отрываясь от письма, он приподнял локоть, отпустил конверт. Конверт был плотный, сразу видно — казенный. На лицевой стороне его глазастой машинкой отпечатан адрес Платоныча. обратного не было. Учрежденческая штемпелевочная машина четко оттиснула только стоимость почтовой марки.

Платоныч дочитал письмо до конца, похрипел горлом, сказал: — Хорошо написали. — Голос у него взволнованно прерывался. щеки подрагивали. — На, читай, — он протянул мне бумагу.

Я стал читать:

«Дорогой наш друг, фронтовой товарищ! Приглашаем тебя на нашу традиционную вечернюю поверку по случаю Дня Победы... ..В этот праздничный день мы вспомним «о боях-пожарищах, о друзьях-товарищах», послушаем и споем берущие за душу солдатские песни, согревавшие нам сердца в землянках и окопах.

Приходи на нашу встречу, приходи непременно!

Если ты помнишь свою опаленную молодость, а ее невозможно забыть, надень боевые награды, ведь каждая из них — это не только знак чести и доблести, но и один из славных эпизодов смертельной схватки с ненавистным врагом...»

Приглашение было составлено умно, трогательно. Тут были и юморок и грусть, были задействованы слова из фронтового обихода: «кашевары», «продаттестат», «дислокация», «позиция», «огневой рубеж». Талантливый, видать, человек потрудился над письмом. Даже меня письмо растрогало...

— Пойдете? — спросил я Платоныча.

— Не, — сказал он. Подумал, добавил: — Наверно, не пойду...

— Почему? — удивился я. И тут же, чтобы как-то смягчить слишком лобовой вопрос, на который ответить Платонычу, видимо, было непросто, стал цитировать письмо: — «Цена продаттестата пять рублей...» Совсем недорого! «Мобилизованы лучшие кашевары...»

— Плохо мне там бывает... Как-то не по себе... Туда приходят некоторые такие хвастливые да разговорчивые. Я по сравнению с ними будто белая ворона. Прoshлый раз просили всех по очереди что-то вспоминать и рассказывать. А я ничего не смог ни вспомнить, ни рассказать. Да и наград у меня мало — орден да медаль...

— Ну, это вы зря. Платоныч! Награды у вас хорошие: орден Славы, а медаль — «За отвагу!» Самые что ни на есть боевые солдатские награды. Гордиться ими надо. И рассказать чего найдется.

— А вот нечего! — обиженно сказал он. — Нечего! Там, к примеру, задают: «Ну, расскажите случай. Самый смешной или самый страшный, самый жуткий». Или еще какой. Ну? А у меня не было никаких случаев таких. Тем более смешных. Вся война была жуткая и страшная, один случай на другой был похож... Обычные, в общем, случаи... И встреч никаких таких особых не было. Я знал одно: «Вперед! Вперед!». Бежал, стрелял да падал, бежал, стрелял да падал,

да землю рыл... И в дождь и в мороз долбил... О, сколько я ее перебурировал! Я ведь неба за всю войну почти не видел. Только когда в госпиталь попадал. Там отдышишься немножко и опять вперед! Бежал да падал, бежал да падал. Да стрелял, аж плечо немело. А сколько раз поднимался в атаку-у!.. Как вспомню теперь — не верится даже, что такое возможно человеческому организму выдержать. — Платоныч покрутил головой и загрустил. Вдруг встрепенулся. — И «смешной» случай, верно, был... Занимали мы немецкие траншеи, а они водой залиты были. И немец поливает из пулеметов. Бежим, с ходу прыгаем в траншею. А один солдат увидел воду и замешкался — не хочется ему, вишь, ноги замочить, начал зыркать, искать, где посуше. Ему кричат: «Давай прыгай! Траншея пристреляна!» А он никак не решится. И тут его хлоп, он кувырк носом в землю, а вокруг смех: «Допрыгался!» Смешно?.. Рази ж это смешно? А смеялись, дураки. Над бедой человека смеялись. Рассказать — не поверят, да и стыдно такое рассказывать. Или встречи. Была у меня встреча — впервые комбата на передовой увидел. Старший лейтенант в расстегнутой шинели, с пистолетом наголо, разъяренный, матерился жутко — в атаку людей поднимал. А ни к чему яриться, люди и так поднимались... Опять же, разве это интересно? Для рассказов же совсем не такие нужны случаи. К примеру, разведчик языка притащил, да еще полковника! Во! Или один там шофером был, командующего возил, под обстрел попали... Тоже случай! — Платоныч слегка ехидно улыбнулся. — Страшно им было... Или самого маршала Жукова встретил, да вгорячах и в темноте не разобрался... Во какие случаи! Мой комбат рази сравняется с командующим?

— Ну и зря, — не согласился я с ним. — Чем же эти эпизоды вам не нравятся? Вы же их не придумали? А на войне как на войне — все бывало. Надо только смелее быть, не стесняться. И награды у вас хорошие пусть мало, но хорошие...

— Так мне же некогда было их получать, я ж не задерживался долго в одной части. Раза два-три схожу в наступление — и все, повезли в госпиталь, а после госпиталя уже новая часть.

— И эпизоды у вас найдутся для рассказов не хуже других, — продолжал я. — Надо покопаться лишь в памяти.

— Да, может, и найдутся... Дело-то не в том... Рассказать не умею — вот беда... Плачу, не могу совладать с собой.

— А ты не пей там, — раздался вдруг голос жены Платоныча. — Выпьешь, думаешь — для храбрости, а сам расслабишься еще хуже. Вот водка и плачет, — заключила она.

Платоныч посмотрел на нее долгим укоризненным взглядом, обиделся.

— Тридцать лет живем мы с тобой, детей взрастили, а понятия у тебя обо мне ни на вот столечко нет, — показал он ноготок и полез в карман за платком.



— Ну вот, скажи правду... — жена повернулась и медленно ушла. Тоже обиделась. Платоныч безнадежно махнул вслед ей рукой, поник.

— Не сердитесь на нее, — сказал я. — Обычное женское. А на встречу все-таки вам надо пойти.

— Да пойду, конечно... Куда денешься? Дело-то фронтовое, святое.

Дня через два после встречи я застал Платоныча у телевизора, он переключал его на вторую программу.

— Передача для фронтовиков будет, — объяснил он мне.

— Как встреча прошла, Платоныч?

— Хорошо! — сказал он весело. — Хорошо!

— Не плакали?

— Было немножко... — признался Платоныч. — Да там уже не один я такой... Все хорошо прошло. Вспоминать ничего не заставляли. — И погордился: — Меня выбрали в совет ветеранов. При деле теперь буду. — Помолчал и еще похвастался: — А я, наверно, уже вылечился от своей болезни. Вчера был у ребятешек в школе, рассказывал им про войну, и все обошлось — не заплакал.

— Ну и хорошо! — порадовался и я его радости. — Что же вы им рассказывали?

— Неужели же мне нечего рассказать? Такую войну прошел! Тише, началось! — кивнул он на телевизор.

По телевизору прокручивали военную хронику. С первых кадров Платоныч стал крепко кусать себе нижнюю губу, потом раза два у него вверх-вниз дернулся кадык — Платоныч глотал слезы. А через минуту они уже катились по его щекам, и он украдкой сбивал их указательным пальцем правой руки. Но слезы все набегали, набегали, и Платоныч, уже не таясь, достал платок и стал вытирать им глаза.

Я сделал вид, что ничего не замечаю...

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Костер . . . . .	3
Лисички . . . . .	5
Синички . . . . .	8
Ежишка . . . . .	12
Воробышек . . . . .	14
Игрушки . . . . .	17
Ласточки . . . . .	21
Молоток . . . . .	26
Луна на веревочке . . . . .	29
Внук Ромка . . . . .	32
Платоныч . . . . .	40

Михаил Макарович КОЛОСОВ

### КОСТЕР

Редактор Л. М. Наточанная

Технический редактор О. Н. Ласточкина

---

Сдано в набор 30.12.83. Подписано к печати 23.02.84. А 00327.  
Формат 70×108<sup>1/32</sup>. Бумага типографская № 2. Гарнитура  
«Школьная». Высокая печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд.  
л. 3,16. Тираж 100 000. Изд. № 637. Заказ № 2001.  
Цена 20 коп.

---

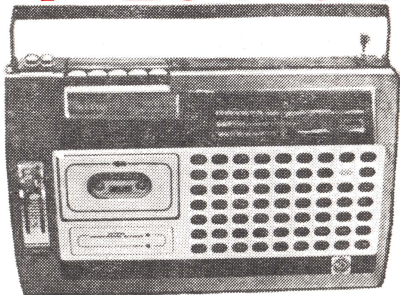
Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография  
газеты «Правда» имени В. И. Ленина, 125865, Москва,  
А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.



Цена 20 коп.

Индекс 70668

# ВЭФ·260·СИГМА



«ВЭФ-260-СИГМА»

Изделия с маркой рижского производственного объединения «ВЭФ» пользуются неизменным спросом покупателей. Одна из моделей объединения — магнитола «ВЭФ-260-Сигма».

Приемник магнитолы работает в ДВ, двух СВ, УКВ, а также пяти КВ диапазонах.

Записать заинтересовавшую вас музыкальную или речевую программу можно с помощью встроенного однокоростного двухдорожечного кассетного магнитофона непосредственно с приемника, встроенного микрофона или внешнего источника сигналов.

Питание магнитолы универсальное — от сети или шести элементов типа «373».

Цена — 270 руб.

УПРАВЛЕНИЕ «ОРБИТА»

